

## Сергей Пылёв

*Пылёв Сергей Прокофьевич родился в 1948 году. Прозаик, публицист. Член Союза писателей с 1984 года.*

### МОЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ БРАТ

Уйдя в отставку, отец, Прокофий Ильич, — военлет, комэск, для постоянного жительства выбрал Воронеж: поближе к своей родной деревне Милавке. И отныне у нас часто можно было застать его дядьев, братьев, сестер и племянников. Приезжая в Воронеж по своим делам, милавцы нас не обходили. Отца они считали большим человеком: как-никак служил в одном полку с Гагариным. К тому же он часто помогал родне, — купить корову, поставить дом или на похороны. Деньги деньгами, но и многие наши вещи донашивали в Милавке. Порой доходило до казуса: однажды дядя Илларион, старший брат отца, восхитился маминой кротовой шубой. Та была совсем новая и мама, Татьяна Яковлевна, ее успела надеть один только раз. Как бы там ни было, отец обнял дядю Иллариона и объявил, что дарит шубу своей золовке. Правда, Аня, жена Иллариона Ильича, которую в Милавке почему-то звали Оней-Аней, так ни разу ее и не надела. Оня-Аня стеснялась пройти в ней по деревне. Шуба пролежала в сундуке, пока моль не сделала свое дело.

Узнав об этом, отец только скрипнул зубами. Помогая родне, он, наверное, чувствовал себя, ни мало ни много, главой рода. В свою очередь, милавцы платили ему, чем могли: они по собственной инициативе переименовали отца из Прокофия в более благозвучного Владимира. Учитывая его отчество, отец стал по-ленински Владимиром Ильичем, а это в те еще перестроечные годы было нечто. Потом же из деревни везли нам самое разное своёское угощение. Скажем, пахнущие ржаной соломой моченые яблоки, которые хранились в бочках до февраля-марта в реке, подо льдом, отчего, наверное, и были они на всю область известны своим особенным забористым вкусом. Яблоками Милавка славилась. Но особенно она славилась салом. Сало нам тоже везли бесперебойно. С черновато-коричневой, паленой шкурой, оно на срезе отливало перламутровой живой белизной, прорезанной сургучными прожилками любовчинки. Свиной в Милавке обычно забивали, как и полагалось, на Великий Четверток. Вроде тогда салу и мясу сообщались все необходимые достоинства. Я никогда не видел, чтобы отец ел сало с базара или

тем более более магазинное. Он исключительно пользовал милавское. Если оно у нас заканчивалось, отец терпеливо ждал. Ему никогда не приходилось ждать долго.

Этой зимой в очередной посылке из Милавки кроме яблок, сала и угольно-блескучих сушеных груш обнаружилась бледная любительская фотография: сутулый, широконосый пацан в валенках, тесном пальто и кожаном летном шлеме.

— Узнаешь? — приобнял меня отец.

Я узнал свое пальто, этой весной благополучно отбывшее в Милавку, узнал заветный шлемофон, который мне так и не удалось ни разу надеть.

— Не ломайся! — нахмурился отец. — Ты же этому малому однажды чуть ухо не отгрыз! Вам тогда года по четыре было. Никто не понял, почему ты на него набросился! Тебя еле оторвали. Пришлось мне покраснеть за своего сыночка!

— Вспомнил? — осторожно улыбнулась мама.

— Нет... — вздохнул я.

Отец выхватил фотографию. Во всем, что касалось его родни, он был просто-таки щепетилен. Оно и понятно: подчеркивая во всем родственную связь с милавцами, щедро посылая в деревню деньги, одежду, он сам, тем не менее, ни разу туда не наведалься. Что-то его всегда удерживало. Отец откладывал и откладывал поездку в деревню. Хотя какой-то явной причины не поехать не было. Он, случалось, уже сидел на чемоданах, но в последнюю минуту вдруг объявлялось нечто и вынуждало его остаться.

На фотографии был мой двоюродный брат Николай, сын дяди Иллариона Ильича.

С тех пор он стал регулярно присылать нам открытки к праздникам и даже письма. Они были полны ошибок. Я находил их, несмотря на то, что моя грамотность тоже была не на высоте. Не иссякавшие послания Николая казались мне написанными словно бы тремя разными людьми: мальчишкой, стариком и сельским дьячком.

«Здравствуйте и к тому же извините за долгое молчание наши дорогие родственники дядя Володя, тетя Таня и брат Сережа, который никакой мне не двоюродный, а самый настоящий родной по крови и духу!» — писал Николай.

И чем заковыристей выражался Николай, тем больше умилялись над его строчками мои родители. Однажды мама даже расплакалась над очередным письмом. Она только что перенесла грипп, об этом узнали в Милавке, и Николай не замедлил откликнуться, старательно соблюдая давно забытые мной правила нажима пером: «Будьте так добры, тетя Таня, не болейте в другой раз! Очень изволновались и уже хотели ехать до Вас: и отец мой Илларион Ильич, потом же мамка Аня и даже сосед наш дед Демоняка. Душевно посылаем лечиться травы, а также яблоки и немного сальца. Поправляйтесь со всей окончательностью. Об этом сообщите обязательно, чтобы и мы могли порадоваться за Вас. Лети с приветом, вернись с ответом!»

Меня тотчас посадили писать ответ. Я вымучил полстраницы, и отец остался недоволен моей краткостью. Словно в укор мне, он в очередной раз объявил, что едет погостить в Милавку. Был канун Нового года, и скоро начались затяжные метели, так что сообщение с Милавкой надолго прервалось. Отец снова остался дома.

Тем не менее, Николай не задержался с ответом на мое куцее письмо и в буран за десять километров добрался до райцентра, где была почта. Так что вскоре мы опять читали рассуждения уже известной нам тройцы: мальчишки, старика и дьячка.

— Вам с Колей надо переписываться! Вы же братья! — вдохновенно постановил отец.

И все-таки в развитие эпистолярного жанра мы с Николаем свой вклад так и не

внесли: приближился конец учебного года, и надо было избегнуть грозивших мне двоек по алгебре и химии.

В конце концов, ответами в Милавку занялась мама. На 8 Марта она даже послала Оне-Ане нечто в стихах. Поэтическим размером это напоминало сказку про Конька-Горбунка. Мама была из поколения, которое повально увлеклось сочинять под Ершова. Вообще-то раньше мама стихи не писала. Трудно сказать, почему ее вдруг потянуло рифмовать. Но получилось в меру складно и бойко.

На это письмо Николай так и не ответил. О причине можно было только догадываться. Скорее всего, он тоже хотел прислать стихи, да они ему не дались.

Как бы там ни было, в свой очередной приезд дядя Илларион, кроме традиционных яблок, груш и, конечно же, сала, привез назад мамينو письмо в стихах.

— Очень складно написано! Может быть, оно вам еще для чего пригодится. Вдруг в газете захотите пропечатать... — уважительно, несколько смущенно проговорил Илларион Ильич.

— Что же ты никогда не возьмешь с собой сына?! — душевно возмутился отец. — Надо братьям поближе сойтись!

— Учится он... — вздохнул дядя, и стало достаточно ясно, по крайней мере, для меня, что успехи в обретении знаний у Николая на нулевой отметке.

— На весенних каникулах привези! — не отставал отец.

— Да нужен он твоему!.. — дядя мельком глянул на меня и как-то странно, непонятно подмигнул. — Мой деревня деревней!

— Письма Коля пишет достаточно грамотно! — порывисто сказала мама. — И у него все меньше и меньше ошибок!

— Пыжится! — усмехнулся дядя. — Да толку... Коровам хвосты крутить ума много не надо.

— А в институт он у тебя не собирается? — строго сказал отец. — Стране нужны квалифицированные специалисты!

Дядя сник.

Однако на каникулах дядя Илларион все-таки приехал с Николаем. Мой двоюродный брат оказался весьма даже похож на меня. По фотографии это было не так заметно. Дело в том, что Николай напоминал меня не столько внешне, сколько жестами и манерами. Он, как и я, при ходьбе забрасывал руки за спину, а, наевшись, склонял голову к плечу.

Голос его я услышал не сразу. То глухое, словно бы раздавленное «здрасьте», которое Николай, войдя, сипло выдал за спиной Иллариона Ильича, само собой, было не в счет. Он судорожно, уперто молчал. Словно не замечая этого, мама то и дело о чем-нибудь спрашивала его, но ответа, само собой, не получала. Со стороны было похоже, будто она учит Николая говорить.

— Коля, а ты хотел бы поступить в институт, получить высшее образование? — обратилась она к нему. — Поверь, нам не безразлично твое будущее! Надо верить в себя! Ты хорошо знаешь, что когда-то дядя Володя был всего-навсего простым пастухом! Пора подумать о большой дороге для себя!

— Я, парень, тебя не оставлю! — сказал отец таким тоном, словно и в самом деле мог вершить чужие судьбы. — Помощь будет. Обеспечим.

— Вот спасибо так спасибо!.. — вздернулся дядя Илларион и подмигнул Николаю. — Сынок, поблагодари и ты как следует. Мы ведь не без понятия!

Николай вдруг побледнел.

— Отставить! — вскрикнул отец, почувствовав неладное. — Давайте без всяких там фиглей-миглей: мы же родные люди!

Дядя Илларион схватил его за руку и, зажмурясь, скрипнул зубами. Это, кстати, был, если так можно сказать, чисто милавский проект. Они хлестко обнялись. Братья тискали друг друга и очень даже по-милавски скрипели зубами. Мама улы-

балася, закрыв уши. Нервы у нее не выдерживали такие звуки. Они были жестче тех, когда ножом скребут стальную сковороду. И все-таки она улыбалась. Нельзя было не улыбаться, глядя на мужиков, которые расчувствовались по всей программе. Само собой, даже слезы были с обеих сторон. Да и концерт зубами они устроили самый настоящий.

В это время Николай вдруг и заговорил:

— Учиться я, само собой, хотел бы! — неожиданно запросто, даже как бы несколько нахально сказал он. — Мне это, в общем-то, нравится. Плохо, что я не могу стать летчиком, как дядя Володя. На гранате пацаном подорвался... Живот, что решето. Но я пойду в политехнический и буду конструировать самолеты. Самые лучшие в мире!

— Ты хочешь на авиационный факультет? — со знанием дела уточнил я. — Здорово! Значит, будем поступать вместе. Я тоже туда решил. Только учти: конкурс там еще тот!

Однако Николай, как спохватившись, уже снова молчал. Мало того, он еще отчаянней побледнел.

— Зачем ты перебил брата?! — вскрикнул отец.

— Говори, деточка, мы тебя внимательно слушаем! — воскликнула мама.

Но они уже не добились от него ни слова: он молчал как партизан.

А потом мы сели обедать. На столе были отличные, сочные пельмени и не менее сочные голубцы в капустных коконах, но отец, тем не менее, ничего не ел, кроме милаевского сала. Он как священнодействовал над ним.

Когда мама подала на дулевском блюде из густо-белого яркого фарфора алый, тяжеломысый арбуз, Николай вдруг судорожно встал из-за стола. Отойдя в сторону, он скovyрнул с ног непривычные ему тапочки и тихо, почти нежно сказал:

— Лапы совсем запотели. Пусть охолонут...

После обеда я снова услышал его голос, — он глухо, как через силу, спросил у меня:

— Сортир где?..

Я провел его в конец коридора. Николай закрылся в туалете, несколько раз для надежности с силой подергал дверь изнутри: сила у него была. При этом он что-то сказал, но я не разобрал.

Его долго не было.

Вдруг я услышал с той стороны сдавленный шепот: Николай звал меня. При этом он как-то странно, судорожно мялся и смотрел достаточно тоскливо.

— Не могу... в доме, — сдавленно проговорил он и скрипнул зубами похлеще моего отца и дяди Иллариона. У меня, кстати, так не получалось, хотя я не раз пробовал, не жалея зубов. Я один из всей нашей мужской родни не умел ими так основательно скрипеть. При всем при том зубы у меня были в полном порядке.

— Мы у себя до ветра ходим... — чуть ли не всхлипнул Николай.

И я повел его на улицу. Мы скоро нашли подходящее место в глубине аллеи. Он между делом закурил.

— Будешь? — предложил мне Николай, не вставая.

Я машинально взял у него сигарету. Термоядерный «Памир».

Это была моя первая попытка курить. Я сделал пару судорожных затяжек и как ослеп. Будто со стороны слышал я звук, с каким упал лицом в весенний колючий снег. Позднемартовский, залежавшийся в тени наперекор весне, он был корявый и жесткий как плак.

Николай привел меня в чувство, растирая уши. Делал он это очень больно, но, наверное, иначе было нельзя.

Я очнулся, вскрикнул и оттолкнул его.

— Еще дерется!.. — разогнулся он, подтягивая штаны, перехваченные солдат-

ским ремнем с белой, залитой изнутри свинцом, чтобы ей можно было серьезно действовать в драке.

Я сел на корточки, привалившись спиной к скользкой ледяной стене.

Вечером дядя Илларион и Николай уехали. Мне без него вдруг стало немного грустно, но я постарался не придавать этому значения.

Обычно из Милавки наезжали к нам так часто, что мы сразу заметили, когда однажды эти посещения вдруг резко прекратились.

Посылки и письма шли, но никто уже не заходил. Кстати, посылки стали приходить как никогда часто. И если яблоки все-таки подъедались, то куда девать милавское сало, мы уже просто не знали. Как ни любил его отец, но с такими объемами он один справиться не мог. Меня и маму в расчет брать по-прежнему не приходилось.

Когда однажды мама случайно увидела на базаре кого-то из нашей милавской родни, а те сделали вид, что не узнали ее, — отец забеспокоился всерьез. Он снова решил ехать в деревню. По всему эта заветная поездка должна была, наконец, состояться. Все шло к этому.

— Опутели они, что ли, там? — говорил отец, судорожно уталкивая вещи в саквояж. — Ну и мужики! Давно я с ними по-свойски не толковал!

И вот за ним закрылась дверь. Надо отметить, что во все его предыдущие милавские сборы до этой черты ни разу не доходило.

Мы с мамой вышли на балкон, чтобы увидеть, как отец будет переходить улицу и помахать ему.

Я и мама стояли достаточно долго, но его все не было. И мы уже решили, что проглядели отца.

А он все это время сидел в комнате у нас за спиной и читал письмо. Это было письмо из Милавки. Отец только что взял его из почтового ящика.

— Вот почему эти мудрецы перестали к нам ездить! — вскрикнул он. — Тоже мне, психологи доморощенные! Илларион просит, чтобы Николай пожил у нас, пока не поступит в институт. Через это нам и дали передышку. Отпуск, понимаете ли, устроили! Демоняки! Пусть, конечно, живет. Пусть живет столько, сколько надо. Мы даже можем прописать его у себя. Потеснимся.

— Им надо свечку тебе поставить... — сказала мама.

— Деньги только зря потратят! Я же — атеист! — гордо засмеялся отец.

И мы теперь каждый день ждали Николая. Вернее, каждый день, начиная с восьми вечера. Это было то самое время, когда приходил поезд со стороны Милавки. Он приходил раз в сутки, и в другое время ждать Николая не имело смысла.

Первое время мы день ото дня не садились ужинать, ожидая Николая, и ужидали уже на ночь. В конце концов, у отца расстроился желудок. Ведь он и за ужином, как за завтраком и обедом, ел милавское сало. Он без него никогда не садился за стол, но есть перед сном сало — выдержит не всякий организм...

Николай приехал утром с товарняком. В руках у него был самодельный фанерный чемодан с накидными проволочными крючками, а через плечо висела гармонь с яркими красными мехами.

— Здравствуйте, — глухо сказал Николай, почему-то глядя только на меня.

— Здравствуй, племяш! — торжественно обнял его отец.

— Вот тут мне адрес один дали. А где эта улица, я не знаю, — замылся Николай, протягивая какую-то бумажку.

Отец сел за стол и попросил очки.

— Это адрес гостиницы «Луч», — сказал он. — У тебя там какие-то дела?

— Папка сказал, что я смогу там переночевать, если у вас нельзя...

— Как нельзя? — покраснел отец. — Вот ведь жилка деревенская. Ну-ка, снимай гармонь! Танцев не обещаю, но все остальное будет.

После обеда мы сели с ним заниматься: до вступительных экзаменов оставались считанные дни.

На первом экзамене мы писали сочинение. Николай выбрал тему «Образ Наташи Ростовой» и старательно раскрыл его от лица уже известной мне троицы: мальчика, старика и дьячка. Сочинение от их имени вряд ли могло понравиться комиссии, особенно если в нем была, к тому же, куча пугающих ошибок.

Николая отчислили, и он собрался обратно в Милавку. Мне было неловко перед ним. Как ни странно, у меня в смысле экзаменов пока складывалось не самым худшим образом.

— Черт с ним, с этим институтом! — сказал отец. — Только ты, Коля, все равно оставайся у нас. Я тебя пропишу. Сейчас в городе прописаться нелегко, но у меня пока есть через кого похлопотать.

— Спасибо, дядя. Спасибо, тетя... — сказал Николай. — Только я уже и билет купил...

Он вдруг впервые за все эти дни взял гармонь и круто распахнул, как развалил, ее яркие красные меха. Она улыбочато ощерилась.

Николай заиграл. Отец скрипнул зубами, словно подал боевой милавский клич. Он поднял глаза к потолку и стал аккуратнo, вполсилы пританцовывать, чтобы особенно не беспокоить соседей.

Гармонь густо дышала в руках Николая. Он чуть не выворачивал ее наизнанку.

— Гуляй, мотаня! — вдруг крикнул кто-то с улицы, и мы услышали под нашими окнами азартное шарканье ног, тупые, рассыпчатые удары каблучков по асфальту. Кто-то из прохожих подхватился пританцовывать под нашу музыку.

Воронеж...

Мама вдруг заплакала.

А потом мы провожали Николая. До Милавки на поезде часа два. В принципе, это не так уж и далеко. Но почему-то у меня было ощущение, что Николай уезжает в невообразимую даль, может быть даже дальше, чем в другую страну, куда-то туда, куда все собирался и не смог собраться отец в своем стремлении достичь родной Милавки. Николай уезжал в другую жизнь.

Я достаточно неплохо сдал следующий экзамен и ничуть не хуже все остальные.

В сентябре наш курс будущих самолетостроителей повели на авиазавод. Это было тогда по всем статьям секретное предприятие. Когда нам выписывали пропуска, мы волновались не меньше, чем перед экзаменами. Казалось, что кому-то могут и не разрешить пройти на территорию.

Прошли все, но у двоих наших ребят временно отобрали фотоаппараты. Остальным велели сдать в камеру хранения портфели и сумки.

Нас водили по цехам и показывали то, что можно было показывать. Показывать можно было немного, да и то издалека. Фюзеляжи будущих самолетов, облепленные фигурками рабочих, напоминали гусениц, на которых напали муравьи. В цехах было светло, и не в последнюю очередь благодаря алюминию, который был здесь повсюду. Его ярко-белая стружка кудряво усыпала станки, как мишура новогодние елки, сугробами лежала в специальных контейнерах. Ее сюда свозили со всех цехов. Это делали два парня на автокарах.

Один из них заложил вираж совсем близко от нас. Девчонки шарахнулись. Тележка гремела, опасно шевеля острыми усами витой стружки.

Я узнал на подножке Николая.

— Никому не говори, что видел меня! — сказал он, притормозив. — Как-нибудь я зайду к вам и все объясню.

И я ничего не сказал родителям. Я не сказал про нашу с Николаем встречу даже

тогда, когда стало ясно, что он уже не зайдет. Мне самому почему-то не хотелось говорить об этой встрече.

А из Милавки снова никто долго не приезжал. Только время от времени приходили посылки и поздравительные открытки. Теперь их писала Оня-Аня. «С приветом-поклоном к вам вся родня. Не поддавайтесь хворям-болезням и приезжайте проведать-погостить». Само собой, ей отвечала мама. Кстати, она в каждом письме интересовалась про Николая, но ничего вразумительного так и не добилась. Время от времени я бывал на заводе, но уже ни разу не видел его там. Позже я узнал, что Николай давно уволился и куда-то уехал.

Чувство смутной вины долго не оставляло меня...

...Мы встретились через много лет. Уже в начале «нулевых». Встреча была случайной. Авиазавод, на котором я работал старшим мастером участка, ждал высокого гостя из аппарата президента. Нашему руководству во главе с губернатором области предстояло его уговорить на «добро» для заключения одного очень выгодного для нас контракта с Венесуэлой. На генеральном директоре лица не было.

Полпредом президента оказался мой Николай. Николай Илларионович. Наш контракт он раскритиковал в пух и прах, но крест не поставил. Контролировать дальнейшую доработку он поручил мне.

## Наталья Моловцева

*Моловцева Наталья Николаевна родилась в 1950 году. Прозаик, очеркист. Более 35 лет работала журналистом. Член Союза писателей России с 2009 года.*

## БЕЛЫ СНЕГИ ВЫПАДАЛИ...

Ты куда ушел, отец?

Земля уже поспела, просохла от весенних дождей — вот-вот возьмется корочкой. Надо копать. Надо бросать в нее семена. Ты сколько жил, столько и делал это.

А теперь?..

Ты зачем ушел, отец?..

Мы, дети, думали, что тебе не будет конца. Как полю, на котором ты работал (за полем ведь — новое поле). Как небу — сколько ни идешь, сколько ни едешь — оно все равно над головой. Как времени, отмеряемому часами-ходиками: дошли до цифры «12», и снова начинают свой круг.

Когда мы однажды увидели тебя сидящим на кровати (ноги уже отказывались ходить), с бородой, отросшей до груди (бриться было уже тяжело, и ты махнул рукой: «Пускай растет; буду, как настоящий дед»), мы несказанно удивились: а ведь дедом-то ты еще и не был...

Был — пахарем. Был — сеятелем. Убирал на комбайне колхозный урожай. Плотником был. Истопником. Господи, да кем только не был, какой только работы не переделал за долгую жизнь!

А вот чтобы по-стариковски праздно сидеть на кровати — таким мы тебя еще не видели.

Дольше всех к этому не мог привыкнуть сын. Названивая из Москвы и пережидая долгие гудки, он говорил потом: «Ты чего так долго не подходил к телефону?». Сын никак не мог понять, что путь до буфета, на котором стоял телефон,

для отца теперь целое путешествие: сначала надо, держась за стену, добраться до холодильника, потом — до стола, стараясь ступить до него одним шагом, чтобы быстрее оказалась под рукой новая опора; ну, а потом уж и до буфета недалеко...

Мы, дочери, все это уже видели и знали, и поняли, насколько это огорчительно прежде всего для самого отца. Потому и поспешили сказать: «Дедом-то ты еще и не был — некогда было. Вот и побудь им!».

Но и тогда после этих слов, казалось нам, что конца тебе все равно не будет. Ну, не станешь работать — так и пора отдохнуть. Главное — ты *есть*, а нам большего и не надо: работать пришел наш черед. А ты вот сиди на кровати, и мы будем знать, что все самое главное в мире — на своем месте. И значит, можно спокойно жить дальше.

Только *там*, наверху, распорядились по-другому...

Одно из самых первых моих воспоминаний: зима, ночь. Мы едем из Верхней Ладки — из гостей — домой. Помню себя сидящей на санях-розвальнях. С кем? С мамой, конечно, — в гости мы ездили к ее родителям. Наверное, с нами была и сестра (если разница в нашем возрасте — три года, а я уже *помнила*, значит, мне шесть, может быть, семь лет). Мы сидим в санях на соломе, а папка идет рядом с вожжами в руках. Идет и во все горло поет-распевает:

Еду, еду, еду к не-е-й,  
Еду к Любушке сво-е-й...

Мне нисколько не страшно, но у мамы на этот счет (на счет ситуации, в которой мы находимся) своя точка зрения:

— Садись в сани! Да правь скорей! Поморозим ребятишек-то...

Я еще мало что понимаю в отношениях родителей; я только чувствую, что папка — хорошо, вольно, душа у него поет... но и мама, наверное, права: ночь, мороз за щеки кусает, а до дома еще далеко...

Много времени спустя я спрошу ее:

— А помнишь — мы в Верхолодку ездили? Возвращались ночью, на лошади. Папка еще всю дорогу песни распевал...

Мама всерьез задумалась. И так же серьезно ответила:

— Да разве мы мало ездили? А раз пел — значит, пьяный был. Всю жизнь, считай, пропил...

Нет, не хочу пока об этом. Вот о чем хочу, так это — о сказках.

Помню папкины сказки до сих пор. Сказки и голос, каким он их рассказывал. А как не помнить, если рассказывались они сначала мне, вслед за мной — через три года — сестре, а следом за ней — через восемь лет — брату. Вот эти, рассказываемые брату, помню особенно явственно. Слово «сказка» он еще не выговаривал и потому просил так: «Казу! Казу!» И начиналась «каза».

«Жила-была коза. И было у нее семеро козлят. Уходила коза в лес за молоком, а козляткам наказывала: никого не пускайте! Только уйдет коза, а волк тут как тут: «Козлепяташки, ребятушки, отворитесь, отомкнитесь...»

Я не знаю, почему папка вместо «козлятушки» говорил «козлепяташки», но слово это нам очень нравилось. А уж когда он начинал говорить за волка — сначала толстым, а потом, после того, как его язык подковал кузнец, тоненьким голоском... Не знаю, рассказывал ли кто еще в нашем селе сказки детям именно так, как наш папка. Он сам как бы становился незримым участником действия, каждый поворот которого обозначал особой, соответствующей ему интонацией. «А один, самый маленький, в печурку спрятался», — тут была и соответствующая моменту таинственность, и радость за находчивого маленького козленочка: смот-



рите-ка, не растерялся! и намекает: мотайте, мол, себе на ус... Для нас, до той поры в театре естее не бывавших, это был самый настоящий театр; мы слушали папку, забыв обо всем на свете. И что с того, что мне было уже за десять, а брату — шел только третий год? Едва сказка заканчивалась, он, к радости сестер, опять начинал требовать: «Казу! Казу!». И папка начинал новую, чаще всего — как старик ездил на базар за рыбой. «Вот один раз говорит старик старухе: «Напеки-ка мне, старуха, блинов»... Мы слушали и понимали: старик и старуха были всегда, и всегда старуха пекла блины, чтобы накормить старика, убажить его перед тем, как он отправится на важное дело, — она этими блинами прибавит ему сил, заставит помнить о доме, о ней самой. Разве случайно старик, увидев на дороге лису, тут же решил: славная будет старухе шуба?!»

Еще мы слушали про курочку Рябу. Опять — старик и старуха, опять — все знакомо и одновременно волшебным образом преображено, высвечено и дополнено папkinsким голосом!

Мы были бы, наверное, счастливыми детьми на свете, если бы...

Я не знаю, почему между мужчинами и женщинами в нашем селе шла вечная война. И это не преувеличение. Единственным отличием от всякой другой войны было то, что те шли между государствами, а эта — между супругами. Людьми, которые, кажется, должны и обязаны были жить в мире — к этому обязывало все: вековечный опыт жизни многих предшествующих поколений, наказы родителей, собственное разумение, наконец.

Куда там!

Война в каждой семье шла особая. Кого-то муж просто «гонял» (материл, крушил мебель, выгонял на улицу, хотя бы и в ночь, жену и детей), кого-то еще и бил. Отец моей подружки Даши жену и «гонял», и бил. Вот почему, завидев его, возвращающегося домой пьяным, она в ужасе бежала к матери — бабе Фросе, и та прятала ее в подполе. А как иначе? Суровый супруг придет, учинит допрос, проглядит все углы. Как он не догадывался заглянуть в подпол — загадка; видно, не думал, что баба по доброй воле полезет в вечно холодное и сырое место, и не на минутку, не на полчаса, а пока муж не находится по селу в ее поисках, не истратит на них последние оставшиеся от попойки силы и не утомится, наконец, завалявшись спать. В конце-концов, дядя Сеня догонял тетю Тоню до того, что та заболела на нервной (а какой же еще?) почве. Муж повез жену по больницам. Возвращаясь, удивленно рассказывал мужикам: «Другим электрической расческой проведут по голове — отваливаются спать, как мухи. А моей хоть бы что — не спит и не спит...»

Закончилось все тем, что тетя Тоня выпила пузырек снотворных. Теперь она спала уже без просыпу, никто и никак добудиться ее не мог. Помню, мы стояли вокруг ее кровати (я, моя ровесница подружка Даша, два ее младших брата и баба Фрося) и смотрели, как мучительно тяжело — шумно, с хрипом — дышит тетя Тоня. Вдруг баба Фрося взяла меня за рукав и вывела в сени. Здесь она сунула в мою руку листочек бумаги и шепотом приказала: «Читай». Я поднесла листочек к глазам. Тети Тониной рукой там было написано: «Дети, простите, я больше не могу терпеть...»

Тетю Тоню увезли в больницу, а через несколько дней понесли на кладбище. «Мам, не ходи туда, не ходи!» — всю дорогу до могил кричал младший Дашин брат, Вовка...

Наш папка был «гоняющим». Руку на маму не поднимал, но матерился так, что по нашим спинам пробегал холодный ужас, и посуду пошвыривал так резко, что сердце разбивалось о стенку вместе с ней. Однажды собрал всю нашу одежду и бросил в печь: «Сожгу на ...! Сам заработал — сам сжугу!»

Долго выдерживать все это не хватало сил, и мы, дети, сами бежали из дома, скрываясь или у бабушки, или у папкиной сестры; один раз ночевали в правлении колхоза — на столах, потому что стояла лютая зима, и на полу было немногим теплее, чем на улице...

Только однажды папка поднял руку на маму, да и то «опосредствованно» — тяжелая, не знаю уж какими бумагами набитая папка, полетела в мамин живот, в котором уже давно жила и просилась наружу наша новая сестренка. Скоро она и родилась, и каждый день жизни был для нее мукой: Мариночка (так мы назвали ее) ни с того ни с сего вдруг синела и начинала задыхаться, откидывая голову назад... Когда она через несколько недель умерла, я услышала от маминой сестры слова, показавшиеся мне тогда странными и страшными: «Слава Богу, отмучилась...»

Вот тогда-то я и написала письмо в «Пионерскую правду» (думаю, училась уже в классе пятом-шестом): «Помогите, наш отец издевается над нами, как палач...»

Через какое-то время в дом зашел городского вида мужчина — в костюме, при галстуке:

— Вы писали письмо в газету?

Я гладила белье; от страха, от застенчивости перед незнакомцем, от взрослого «вы», так и не прекратив своего занятия, тихо прошептала:

— Писала.

— Да перестаньте вы гладить. Расскажите подробнее. Он что — всегда только пьет? Или еще и на работу ходит?

Тут я растерялась еще больше: конечно, ходит на работу. Только разве это оправдание всему тому ужасу, в котором мы живем? И как об *этом* можно рассказать подробнее? Об *этом* вообще невозможно рассказать; об *этом* можно только написать, да и то — от себя укладкой.

Ничего от меня не добившись, незнакомец ушел. А чуть позже меня вызвали в правление колхоза. Говорил со мной (опять — как со взрослой, только уже без наводящего страх «вы») сам председатель колхоза, Владимир Алексеевич Наумов. Его авторитет не только в селе, но и в районе, и во всей нашей маленькой республике был таким, что школьники в сочинениях о будущей профессии писали: «Хочу стать Наумовым». От такого умного, проницательного, всеми уважаемого человека я ждала *понимания*. И вдруг услышала:

— Ты уверена, что ты права? Ты уверена, что поступила правильно?

Сердцу от таких слов стало холодно. Где-то внутри встрепенулось: «Как же не права, если написала чистую *правду*?»

Владимир Алексеевич между тем продолжал:

— Ты еще маленькая. Ты многого еще не можешь понять. Поверь мне на слово: когда вырастешь, на многое станешь смотреть по-другому.

Вместо понимания и сочувствия — какие-то общие, ничего не значащие, не обещающие помощи и поддержки, слова — так мне тогда показалось...

И я ушла от всеми уважаемого Наумова не просто разочарованная — убитая и огорченная. И долго жила с одной только мыслью: скорее окончить школу — и из дома. Как можно дальше...

Когда, в какое время, в каком возрасте стало зарождаться и крепнуть чувство, что все не так просто, как я написала в том письме?

А может, это чувство жило во мне всегда, только я ему не доверяла?

Помню, папка меня, дошкольницу, за что-то отшлепал. Я так обиделась! Спустила время, иду на улицу, а он копает землю на огороде. Иду и чувствую, что он на меня поглядывает. Ему меня жалко. Я все это понимаю — без слов. Но мне-то нуж-

ны слов! Без слов и я понимаю, чувствую, что и мне его тоже почему-то жалко. Вон он — стоит, смотрит, может быть, ждет, что я подойду, повернусь хотя бы... Ну уж нет! Умные люди говорят, что руку на детей поднимать нельзя. А раз поднял (мне нисколько было не больно, но — так обидно!), значит, пусть мучится, пусть страдает... Да, но почему же мне его так жалко? Мало того, я чувствую, что я его... люблю...

Еще помню: мы от папки ушли. Мама сказала: хватит! Ушли, и стали жить на квартире, в соседнем селе, где мама работала в школе. Очень скоро она поняла, однако, что на ее зарплату нам не просуществовать, и, скрепя сердце, вернулась домой, к обидчику-супругу. Сколько мне было тогда лет? Наверное, я все еще не ходила в школу. Иначе, почему тогда папка взял меня на руки, как маленькую? Взял, прижал к себе, и я увидела на его глазах... слезы. И услышала слова: «Как она могла... как она могла...»

Папка плакал, я тоже плакала... И так хорошо было у него на руках! И я опять его... любила!

Хотя пить он не бросил, нет! Иначе, я никогда не написала бы того ужасного письма. В том-то и дело, что все в доме опять пошло по-прежнему, и я подумала: вот напишу, и придет кто-то умный и поговорит с ним, и он сразу переменится и станет другим. Станет жить правильно — так, как живут герои книг, которые я читала, герои фильмов, которые я смотрела.

Но ни мой папка, ни отцы моих подружек правильно жить не торопились. Были, какими были: с черными от работы руками, пьющие, матерящиеся. Вот такие-то — нам и в голову не могло прийти, что они когда-то там воевали. Вернее, так: мы знали, что наши отцы были на войне, но чтобы они совершили там что-то, приблизившее Победу... Победу приближали герои, — так считали мы. А герои — это Александр Матросов, Зоя Космодемьянская и все, им подобные. Наши же отцы...

Наши только и могут, собравшись за столом, орать во все горло:

Вы-пьем за Родину,  
Вы-пьем за Сталина,  
Выпьем и снова нальем!

И выпивают, и наливают опять. А в перерывах между стаканами о чем-то там вспоминают, но мы к этим речам не прислушиваемся. Во-первых, потому, что, наученные матерями, уверены: пьяный человек ничего хорошего сказать не может. Во-вторых, потому, что внимание рассеивалось от постоянного страха: не перешла ли пьянка ту опасную черту, когда из дома пора бежать?

Чаще всего вспоминаю папку, выпивающего с Лукавым. Лукавый — такое прозвище было у учителя истории нашей школы. Почему? Бог весть. Лукавить он как раз-то и не умел, — всегда говорил то, что думал. Подозревать его в черноте внутренней, душевной, тоже не было оснований — никому никогда Лукавый не сделал зла. Наоборот: именно к нему да его жене Капе мама любила ходить за советами. Трезвый Лукавый — ума палата, — любую беду руками разведет. Да и не матерился он, трезвый (как, впрочем, и наш папка; по-трезвому редко только, в сердцах, срывалось с его губ матерное слово)... А вот, поди ж ты — Лукавый — и все тут.

Заходил в гости он всегда чисто одетый, в наглаженной рубашке. Мама, конечно, суежилась, приглашала к столу; папка произносил свое коронное: «Щи да щи... Ты аппетитных каплей давай!» Подавались «аппетитные капли».

Сначала мужики чинно выпивали по первой (пока была маленькой — помню граненые стаканы), потом (мода сменилась? мужики с возрастом стали слабее?) появились граненые же рюмочки. И первая, и вторая, и третья — пока шел чин-

ный разговор. Сначала о колхозных делах, потом — о делах государственных (фамилии членов Политбюро так и мелькали в разговоре; вот бы поприсутствовать на таком «разборе полетов» кому-нибудь из них, — может, и дела в государстве шли бы по-другому...), потом, наконец, приходил черед песни:

Вы-пьем за Родину,  
Вы-пьем за Сталина...

С этого момента накалялись страсти: папка говорил о Сталине с восторгом (пусть уже и пьяным), Лукавый ему перечил, доказывал что-то свое. Папка не соглашался; у них начинался спор. И вот уже летят сбитые со стола тарелки, опрокидываются потерявшей твердость рукой рюмки... Счастье, если мужики — оба — сваливались спать. Лукавого, как гостя, мама уважительно, хоть и ворча, затаскивала на кровать; отец сваливался на пол тут же, у стола.

— Слава Богу! — радовались мы. — Спят. Бежать из дома не надо...

Впрочем, Лукавый продолжал пугать и спящий: он во сне разговаривал. Глаза закрыты, лицо неподвижно, как маска, а изо рта вырываются слова, а то и крики... Жуть! Мурашки по телу!..

И вот такие-то мужики, по нашему тогдашнему разумению, ничего стоящего на войне совершить, конечно же, не могли. Александр Матросов — мог, Зоя Космодемьянская — могла. А наши...

Я уже сама давно была мамой, когда получила из дома письмо, в котором лежала еще и вырезанная из районной газеты заметка. Мама писала: «Вот, отец велел выслать. Пусть, говорит, дети почитают...»

В заметке шла речь о том, что «Рыжов Николай Еремеевич прошел большой и славный путь в годы Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленные в боях, отмечен правительственными наградами — орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга...»

Медали, орден... Да мы их в доме никогда и не видели! Куда же они подевались? Почему, пока мы росли, отец нам, детям, ни разу о них не сказал?!

Все, что помню из его рассказов о войне — как приехал он в июле сорок второго в город Горький учиться на минометчика. «Подхожу к казарме и вижу: на окошке Лукавый сидит. В руках гармонь, играет и песню поет...» Тут папка счастливо смеялся (приехал из села в далекий большой город, где — ни одной знакомой души, и вдруг на подоконнике открытого окна — Лукавый, друг детства, с которым вместе по садам лазили...).

За целую жизнь я не осужилась спросить: они только учились — или и воевали вместе? Лишь из той газетной заметки узнала, наконец, что «закончив курсы при первой учебной минометной бригаде «Катюш» и получив звание сержанта и должность командира орудия, некоторое время Н.Е. Рыжов оставался при учебной бригаде, готовил боевые кадры для фронта, а затем в службе разведки 456-й артиллерийской бригады прошел большой и трудный путь по огненным дорогам войны, завершив свою военную эпопею под Кенигсбергом».

Вот про Кенигсберг — знаю, помню. Как не помнить: папка рассказывал, как после освобождения города они с фронтовыми друзьями-товарищами откопали в саду какого-то дома флягу с вином. Откопали, наполнили кружки (надо же отметить такое событие — город взяли!), как вдруг у кого-то закралось сомнение: «А если оно отравленное?».

— Тогда мы решили так: пьем вместе! И будь что будет!

— У-у-у, — доносился из чулана мамин голос. — И тут про водку...

— Все живые остались! — победно заканчивал папка.

Мы и сами видели, что — живой. И еще раз убеждались: ну, какие тут подвиги? Все думки были — про нее, океянную...

... Я приеду домой на сороковины и останюсь на кухне, пораженная. На стене висел увеличенный папкин портрет. Такой папку — в военной форме — мы, дети, не видели и не знали. Мы помнили его другим, а он... Вон он глядит на меня с портрета, и такой молодой мощью, такой незнакомой нам красотой веет от него, что — дух захватывает! И на левой стороне груди — медали (не придумал районный корреспондент!), а на правой, где полагается быть ордену... дырка на кармашке гимнастерки.

Эх, папка... Не умел ты беречь награды...

Такой же портрет я привезу потом домой. Сколько буду жить — столько и будет висеть на стене.

А потом детям накажу: берегите!

Что же касается «Выпьем за Сталина»... Я еще успею привезти ему книгу Евгении Гинсбург «Крутой маршрут». Спрошу потом: «Ну, как?» К тому времени выпивал он уже редко и мало, а трезвым разговорчивым не был. Только и услышу в ответ:

— Да-а-а... Ну, мы хоть и кричали в боях: «За Сталина», а воевали-то — за Родину...

— Он ведь ничего уж не ест. Так, если яичко...

Сестра позвонила в новогоднюю ночь; мы — я, муж, дети, внуки — сидели за праздничным столом. Сразу все стало неинтересно. Все заслонила одна мысль: домой, к нему. Я должна что-то придумать, как-то удержать его на этой земле...

Позвонили на станцию; оказалось, нужный поезд идет в нашу сторону буквально через два часа.

На следующий день, ближе к обеду, я вошла в родительский дом.

— Наташ, ты?

Голос у папки был негромкий, глухой, но он говорил!

И я сходу принялась его «воодушевлять»:

— Папк, ты чего? Чего сник-то?

— Да вот... И уколы кололи, и таблетки пил, а толку нет.

— Ну их, этих врачей! Смотри лучше, чего я тебе привезла...

А привела я бальзам «Шипова дубрава», настоящий, как утверждала этикетка, более чем на двадцати лекарственных травах.

— Папк, давай по маленькой-маленькой рюмочке... для аппетита...

И случилось чудо: папка стал есть! Суп!

Я уезжала (работа, дети, внуки...) счастливая: это папка-то ничего не ест?! Папка, который всю жизнь хлебал щи из большого блюда?! Пусть теперь не из блюда, пусть из тарелки, но ведь ест же!

На прощанье у нас состоялся такой разговор:

— Смотри, чтобы духом не падал.

— Не-е... У меня теперь вон какой ресторан (папка показал на табуретку у кровати, на которую мама ставила тарелку со щами). Вот только борода, как у старика.

Тут меня и осенило:

— Папк, а ведь ты стариком еще и не был! Всю жизнь работал и работал. Как молодой.

Папка с готовностью эту мысль подхватил:

— А ведь и правда... Чего бы мне не пожить еще стариком-то?

Не получилось... Не привык он — стариком. Потому что стариком — значит, без дела.

Летом я приезжала в отпуск; папка уже не ходил, но еще хорошо сидел на кроватке.

ти. Говорили об обычном, житейском: во-первых, я боялась его утомить, во-вторых, боялась того, что другие разговоры он может воспринять как прощальные. Он спрашивал про внуков, про дом, про огород и картошку: «Много посадили этот год?»

И тут выяснилось, что еще прошлой осенью всю картошку со своего усада он выкопал сам. Мама рассказывала:

— Взял лопату и потихоньку пошел, пошел... Так и выкопал. Мы с Валею (дочь) и Никиткой (внук) таскали.

— Господи... Может, он ноги тогда и перетрудил?

— Его разве остановишь? Одно твердит: «Неужто кого нанимать? А я на что?»

Всегда, всю жизнь папка все делал сам. Копал, сажал, убирал... Всю жизнь: семьдесят девять весен, лет, осеней: копал, сажал, убирал. К этому привык он, к этому привыкла земля...

Дом перестраивал — из ветхой избушки в крепкий пятистенок — тоже сам. Хлев, где всю жизнь стояла корова — тоже сам. Сарай, где хранились дрова и брикет... загончик для поросят... намест для кур... изгородка... А какую террасу пристроил к дому: окна — на две стороны света, полка для книг, полочки для посуды... И крыльцо тоже застеклил, от улицы отгородил, дверь на петли повесил: ни собака, ни курица не зайдут, а для кошки внизу — маленький лаз...

Следующий тревожный звонок от сестры прозвучал осенью. Стоял ноябрь. Срок для зимы еще не пришел, — она попугивала холодами, но вместо снега сверху палал холодный дождь...

Я зашла домой, и увидела на папкиной кровати кости, обтянутые кожей. И все-таки это был папка — живой! Но на этот раз он действительно не ел, — не помогал даже волшебный бальзам, настоящий на двадцати лекарственных травах. Он и воду пил уже с трудом; чтобы облегчить дело, мама вставляла ему в рот маленькую пластмассовую воронку и тихонько, маленькими порциями, лила туда воду.

Как мало и с каким трудом он уже говорил! Чаще всего мы слышали от него одно только слово: «Баушка».

Наверное, именно с него, с этого слова, началась череда чудес...

Когда папке что-нибудь было надо, он делал призывный жест рукой; кто-нибудь из нас, дочерей, кидался к нему, но он делал уже протестующий жест и звал: — Баушка, баушка!

Мы кидались за мамой, если она была на улице, или звали ее из передней, если она ложилась отдохнуть. Можно представить, как она уставала в ту пору, но с кровати вспархивала, как молодая: «Чего?» Папка показывал на рот — если хотел пить, или вниз — и тогда она поднимала с пола стеклянную банку...

Все остальное время папка просто смотрел. И это было главным чудом. Заключение это чудо в том, что из папкиных глаз лилась *такая* любовь... Я не знаю, какими словами назвать, какими словами определить ее. Я только чувствовала, что льется она почти ощутимым потоком — как вода, и из глаз его перетекает прямо в наши души, и в этой любви-воде растворяется все: все обиды, вся горечь, все прошлые непонимания, растворяется и уносится прочь. А остается, сейчас и впереди, только она — чистая-пречистая любовь...

Наверное, он многое хотел сказать нам тогда, но уже не мог. Оставалось — только смотреть. И это последнее, что было ему под силу, он сделал так, что *никогда* не забуду...

Уезжала домой я раным-рано. На улице было еще темно, мы включили свет. Этот свет папке был уже тяжел; чтобы спрятать от него глаза, он опустил голову вниз. Когда я подошла к нему, чтобы попрощаться, он — и это еще одно чудо — выговорил вдруг целую фразу:

— Наташа... как хорошо, что мы повидались.

Я услышала в этих словах только радость встречи — только радость, и не смогла (не захотела?) расслышать прощания...

«Как хорошо, что мы повидались», — повторяла и повторяла я, пока ехала домой...

«Приезжайте. Папка умер»...

Теперь я собралась в дорогу вместе с мужем.

И папку увидела уже лежащим в гробу.

И все мы, собравшиеся у гроба, стали свидетелями еще одного чуда: у папки было *такое* лицо...

Я опять ищу и опять не могу подобрать нужных слов. Вспоминаю лицо родственницы, которую мы хоронили несколько лет назад: оно было озабоченным. Никогда не думала, что лицо умершего человека может быть озабоченным: а все ли вокруг меня происходит так, как должно, как надо? Не осудят ли люди за что?..

Папкино лицо было просветленно и — благородно. Просветленно — понятно; просветлено любовью, которую он успел излить на нас, остающихся жить. Но откуда у механизатора широкого профиля, всю жизнь проходившего с черными руками, эти благородство и красота черт? Папка лежал красивый, как князь, или граф, словом, аристократ, который всю жизнь свою плоть лелеял и холил. И сквозь эту саму по себе впечатляющую красоту — красоту черт и линий — проступала еще одна, другая, уже не телесная. Это было лицо человека, избывшего вечную нужду (ничего, ничего теперь не надо!), вечную работу (отдыхайте, руки!), а главное — вечную вражду и войну и отдавшего свою душу миру, любви и свету.

Отпевальщицы, заходя в дом, с тихим благоговением роняли:

— Это не старик — старец...

Самый неприятный месяц осени — ноябрь. Земля, деревья, кусты — все, все черно от дождей. Люди идут в дом — проститься с папкой — и несут на ногах грязь...

Но уходил он от нас по белому снегу. Вдруг кто-то, УМЕЮЩИЙ ВСЕ, сделал так, что семнадцатого ноября выпал снег. И все стало бело и чисто: дорожка от крыльца дома до калитки, дорога до поворота на кладбище, дорога до самого кладбища... Вдруг вспомнилось, когда выносили гроб, как папкина сестра рассказывала:

— Бывало, зайду к вам, когда ты маленькая была, а Колька зыбку качает. Качает да поет:

Тары-бары-растабары,  
Белы снеги выпадали...

Вот и несли мы его — по белому снегу...

Я смотрела на дорогое лицо и думала о том, что передо мной лежит не просто мой отец, а человек, всю жизнь себя отдававший. Его руками родное государство делало историю: побеждало врага, выполняло семилетки и пятилетки, создавало все, что только и есть вокруг. Не спорю, не спорю: отцу это тоже было надо: кормил семью. Но почему, почему он, создававший все, должен был всю жизнь обходиться минимумом? Минимумом еды и одежды? Минимумом жилой площади? Минимумом земли (ему дай волю, он бы такой огородище копал и убирал!)? И это еще не главное; главное в том, что его мало когда о чем-либо спрашивали. Много он говорил только с Лукавым. И только в одном не было ему и его друзьям-товарищам ограничений: пей, сколько хочешь!..

Господи, зачем сейчас — об этом?.. Зачем — о земном? Ведь дальше...

А дальше лучше, наверное, не думать. Лучше довериться батюшке, умеющему провожать в последний путь. А мое дело — не закрывать «нет», когда мужики поднимут крышку гроба, не упасть коленями на мерзлую землю, не забиться в истерике, но, преодолевая боль и муку, вымолвить главное слово, которое не успела сказать при жизни: «ПРОСТИ... Прости за ВСЁ...»

И еще одно чудо случилось в тот день: провожая папку, мама плакала так, как, наверное, давно уже не слышали кладбищенские ивы. «А куда ты ушел... на кого ты меня оставил... у детей своя жизнь... остаюсь одна-одиношенька...»

Дорога с кладбища домой. В дом, где уже не было — и никогда не будет — папки... Поминки. «Давайте помянем хорошего человека... фронтовика... всю жизнь работал... всем помогал... никого не обижал...»

Потом перемыли полы и посуду, вынесли столы. После всех переживаний и двух бессонных ночей легли, наконец, спать. Конечно, сон не шел. Все думалось и думалось, вспоминалось и вспоминалось... А тут еще свет от уличной лампочки бьет в глаза через окно — забыли задернуть штору. Надо встать и задернуть.

Просто встать и задернуть, но для этого надо пройти через всю комнату. Через ее середину. Середину, на которой еще недавно стоял гроб. Страшно...

Но свет назойливо-равнодушно продолжал бить в глаза. И я встала и пошла. Через середину.

Что тут случилось! Вместо страха... вместо страха на меня полилось вдруг такое... Радость, восторг — слишком резкие, слишком грубые слова. Благодать? Когда я шла через середину комнаты, мне стало вдруг — благодатно. Как бывает только в церкви.

И означать это могло только одно: значит, папка посылал утешение уже *оттуда*...

... Увы, — одно из чудес, которые произошли, оказалось обращенным. Когда на следующее лето я приехала домой, опять услышала: «Всю жизнь мучилась с ним... всю жизнь пропил...» Стало так больно!

Так больно, что я действительно заболела. Лежала, мучилась; ну как этого можно было не понять: в последние свои дни он пережил такие муки! И он от них не спрятался, не ушел в смерть раньше положенного срока — он принял их на себя, и все пережил, и был помилован, был прощен той властью, выше которой нет... Как можно было этого не понять?

Или... или здесь все-таки совсем другое? Ужели и вправду:

Кто прощен, тот забыт.  
Непрощенный вовек не разлюблен —  
И душой не избыт,  
И забвением не приголублен...

Ужели и вправду такое возможно?

И вдруг в сознании ли, в душе ли стало брезжить: а ведь папка сейчас меня бы не понял и не одобрил. Нет, не одобрил. Причина моей болезни — я сама; это мой эгоизм хочет, чтобы сейчас, когда один здесь, а другой *там* — встретились и помирились. Но, видно, срок этому еще не пришел. И мое дело — терпеливо ждать, а не судить.

И — жить дальше. А когда станет неважно, когда покажется вдруг, что жить стало нечем, вспомнить это: я у папки на руках, и он качает меня, как маленькую, и не плачет, но поет и поет эту незатейливую песенку:

Тары, бары, растабары,  
Белы снеги выпадали...



# Петр Чалый

*Чалый Петр Дмитриевич родился в 1946 году. Прозаик, поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1987 года.*

## РОДНЯ

В тамбуре было мрачно, как, впрочем, и в самом вагоне — нагонял тоску ядовито-зеленый цвет давно не протиравшихся стен, под грязным потолком чуть блеснул закоптелый фонарь, вдобавок ко всему чадила печка угольным угаром. Не дождавшись проводницы, — она или собирала под столиками порожние бутылки, или разговорилась с пассажирами, — Алеша сам открыл тяжелую дверь, хлопнул крышкой люка, еле удержав его ногой, и с явным облегчением спустился по ступенькам вниз. Показалось сразу так темно, будто нырнул на самое дно глубокого черного омута. Ногой нащупал снег, и тотчас под подошвой ботинка чавкнула вода. Тает?

Электровоз коротко прогудел, и вагоны «пятьсот-веселого», прозванного так за поклоны-остановки каждому столбу, один за другим, перестукивая, мягко покатали мимо. Там, в тепле, Алешу не особо тревожил дальнейший путь, думалось, по морозцу отмахает за ночь двадцать километров, что отделяют село от полустанка, в ботинках ведь и налегке. А обернулось все по-другому.

Алексей осмотрелся, глаза чуточку попривыкли к темноте. Прыгая по склизким шпалам, перебрался на другую сторону железнодорожного полотна. Встал на проселок и потоптался — колея была твердой и немного скользкой. Выгладили, наверное, полозьями тракторных саней.

«Просидеть на вокзальчике до утра? А чего ждать? Потопаю потихоньку. Утром и домой попаду». Заколебался только на миг, подхватил рюкзак под лямки, поудобнее пристроил его на спине и зашагал по вилюжкам проселочной колеи.

Поначалу идти было легко. Да ведь и поторапливался Алеша домой, в родное село. Целых шесть месяцев в городе проторчал, а теперь вот — каникулы.

«Мать небось знает, что спешу на побывку, — весело рассуждал в пути. — Письмо давно послал, получила уже. Она, правда, и без письма угадывает всегда, что я приеду. То сон у нее в руку, то петух вовремя прокукарекает. Ждет, поди, хлопочет».

Тяжелый вагонный дух забылся — выветрился. Ласково светились окна домов на знакомой улочке пристанционного поселка. И когда очутился один на один с пустынным полем, на душе стало так хорошо, что Алеша радостно затынул во все горло:

Калина красная,  
Калина вызрела...

Честно говоря, в певцы Алеша ни голосом, ни слухом не вышел. Если и пел, то только про себя или в одиночестве — сам себе.

В мыслях Алексей уже давным-давно был дома. Готовился к первой студенческой сессии, сдавал экзамены, в свободную минуту, как ложился на кровать в общежитии, закрывал глаза — так и являлась перед ним она, родимая Калитвянка.

Село в глубоком яру среди степи, неожиданные густые дубравы подступают со всех строи — Лиманный лес, Высокий, Перещепное, непролазные займища по кругосклонью, в которых веснами на всю округу заливаются-высвистывают соловьи. Дворы больше в зелени садов — старые разлапистые вишни, старинных дедовских сортов груши, яблони доживают свой век. Огороды сбегают в самый

низи яра и обрываются капустными грядками у ставка. Пруд калитвянский широк, не всякий пацан отважится его переплыть. Рыбакам он далеко известен, ради утренней зорьки приезжают из окрестных мест за сотню километров. Еще туманом скрыта водная гладь, а караси пудовыми поросятами хлюпаются посреди ставка — чуть не кидаются им вслед удильщики. Под вязами лопочет звонко и бесконечно родниковая вода, с незапамятных времен льется и льется из глубокой кринички, скатывается литой струей в корыто и дальше — в пруд. Созвучна хрустальному звону воды и голосиста невесть откуда взявшаяся песня. А, это женщины через греблю, плотиной идут с фермы. «На городи верба рясна, там стояла девка красна», — звенят в настылом за ночь воздухе женские голоса. «А мы парой ходить будем и друг друга любить будем», — густым басом непременно выведет с другого берега Макарович, бросит в сторону уду.

— Ну и голосина у тебя, дед, — скажет после, когда сыграется, отзвучит песня, кто-нибудь из заезжих рыбаков.

— Так я ж невыработанный. Стипендию на дом несут. Сиди и лови рыбу, пенсионер. Чем не жизнь? На вольном воздухе...

Размечтается Алексей, засопит от удовольствия. В такие душевные минуты ему нередко видится и зимняя Калитвянка.

Спелый месяц выглянул из-за тучи, высветил серебряное поле, село: нахотлившиеся, в снеговых шапках набекрень, хаты, из печных труб ровными столбами поднимается в небо дым и там чуть шевелится, пропадает вовсе. Вдруг покажется: вот-вот на улицу вывалят толпой парубки и девчата, поодаль кузнец Вакула будет нести грузные мешки, идти с грустной думой о недосыгаемых черевичках для Оксаны, в которых сама царица ходит, пролетит Солоха на метле.

Нет — тишина, серебряная тишина стоит над селом.

...То вспоминалось вдали от дома, а сейчас — рядом, Алеша и подавно шел — представлял, рассуждал вслух.

— Мать тесто на лежанке в тряпки кутает, назавтра хлеб, пирожки с картошкой будет печь. У коровы Голубки телок должен появиться. А на печке теплень... — Алексей зажмурился: тепла сейчас, в холодной степи, ему как раз и не доставало. Широкая печь припомнилась вся: неровные шероховатые стенки, снизу наполовину обмазаны желтой глиной, не такая маркая вроде, выше выбелены чисто мелом, подголубленным чуть-чуть чернилами для красоты. Над печью проходит корявый дубовый сволок, на нем весь верх хаты держится. В сволоке гвоздь торчит. Когда-то пацаном пуговичную лампочку за него Алеша цеплял, свет проводил от плоской батарейки из карманного фонарика...

— Фр-р-р! — Алеша запнулся и с ходу отпрыгнул назад, так его напугал этот внезапный треск чуть ли не под самым носом. И тут же облегченно перевел дух, рассмеялся — куропатки сели на ночевку близ колеи, и он их спугнул.

Фырканье оборвалось так же внезапно, птицы отлетели стайкой в сторону и опять затихло все окрест.

Алексей шел, насвистывая, и припоминал свое, что еще оставалось делать.

Выбегаешься, бывало, за зимний день по сугробам, самые большие выбираешь. То санки вверх, на самый гребень тащишь, то пещеры с подснежными ходами-переходами роешь, то ледяные терема возводишь. Явишься домой, покажешься на мамины глаза весь мокрый, волком голодным. Перешморыгаешь носом, пока отругает, отойдет. Дождешься, пока вытащит на рогаче из печного устья чугунок горячего борща, снимет сковородку — такой запах пойдет по хате вместе с паром. Торопишься управляться ложкой, спешешь наестся досыта, аж за ушами трещит. Мать, на тебя глядячи, успокоится. Пригладит вихры, еще чего-нибудь вкусенького положит на стол. А после постелешь на печи дерюжку, подвернешь повыше фитиль лампы-семилинейки, книжку в руки — и ничего больше не надо лучшего...

Алексей разулбался, вспомнив, как он раз заблудился на печи. Схватился ночью сонный, на выбеленной стенке отражается свет месяца, вот и кажется — там проем, там можно спрыгнуть с печи. Алеша смело сунулся — в стенку лбом. Шарил-шарил руками вокруг себя — куда ни повернись, везде стена, будто в западне. Страх слезы из него выжал. А мать, услышав, что Алеша хнычет, отозвалась сквозь сон за спиной, и все стало на свое место, лаз нашелся.

Плюх! — плеснула вода под ногами. Алексей с ходу попытался перепрыгнуть колдобину — не получилось, набрал в ботинки через край ледяную воду. Выругался:

— Черт, занесло!

Расшнуровал ботинки. Поочередно прыгая то на одной ноге, то на другой, вылил воду, отжал носки. Еле заставил себя вновь влезть в сырую обувь, тело чуток согрелось, и неприятное чувство прошло.

Присмотрелся к дороге, а дальше по колее идти нельзя, доверху залита водой. Попробовал обочиной — еще хуже: снег весь взялся водой, он и на снег не был похож, какая-то густая и вязкая каша.

Постоял Алексей, постоял и неожиданно весело заявил вслух:

— Прорвемся!

Но вскоре Алеша почувствовал, что и за ночь не дойти ему в родное село. Штаны мокрые, обмерзли снизу, в ботинки и вовсе через верх льется вода. Скользко стало. Вдобавок ко всему колени стали мерзнуть, дрожь до кости пробрала.

Часа два в дороге, а прошагал с гулькин нос, и пятый километровой столбик еще не показывается. Алеша, проклинал и лужи, и водянистый снег, и дождь, который не торопясь начал долбить в лицо ледяными каплями. Вот жизнь: раз в полгода выпадет попасть домой, и то по-человечески не доберешься.

Воду из ботинок Алексей вскоре бросил выливать: незачем, пока не неможется, хотя до колен ноги мокрые.

В ближнее Колодежное километров семь осталось, прикидывал уже почувствовавший усталость Алексей. Назад, к полустанку, верных пять наберется. И все одно решил идти вперед, к своему дому.

Мрачная ночь да еще туман. Только и видно, что десяток метров серого пространства впереди, да позади то же. Часто пугают черные кусты, выстроившиеся в лесополосе подозрительными фигурами. Подходить ближе — страшной становится, тянутся к тебе костлявой ведьмой. Невольно ускоряет шаг.

В стороне, наверное, на одиноком стогу соломы недобро прокричала птица голосом сплюшки — будто скребнуло по душе. Ночную птицу в селе недолюбливают не только за противно визгливый голос, — по поверью, она накликала беду. Алеша бы не верил в это, да самому как-то пришлось под вечер земляными комьями сгонять сплюшку с крыши сарая, мать просила. Алеша кидает глудки, а птица не унимается. Даже когда снялась и полетела, во тьме долго слышалось тоскливое и тревожное, с подвыванием «сплю-у! сплю-у-у!». А вскоре в грозу молнией сожгло сарай. Просто совпало так, грозы в то лето были часты. Мать же грешила на сплюшку.

Медленно шел Алексей, а настроение падало и падало с каждым шагом. Тут еще эта птица, надо было ей прокричать. И без того тошно. Почти пустой рюкзак — нестираное барахлишко, кулек конфет на гостинец, книжки — тяжелел и тяжелел.

Алеша вздрогнул — впереди что-то зарыпело. Догадался: едет кто-то. И впрямь, навстречу быстро приближалась лошадь, сноровисто тянула легонькие санки. Скоро поравнялись.

— Здорово, парнице! — послышался голос возницы из-под вороха одежды.

Как у Некрасова, только наоборот — парнице без коня, мелькнуло у Алексея, и он охотно отозвался.

Мужик придержал лошадь, чиркнул спичкой. На миг высветилось долгообразное лицо, Алеша не успел в него взглядеться, как спичка погасла. Возница задымил, неспешно начал расспрашивать, кто Алексей, чей родом и куда путь держит. Видно, присмотрелся к Алешиной одежде, раз сказал:

— Э, студент, гиблое дело задумал, чистую правду говорю тебе. Поворачивай оглобли назад, а то к утру дуба дашь, точно.

Ворчать даже начал:

— Додумался в ботиночках вырваться!

Сначала отнекивался Алеша, а затем послушался. Стащил с плеч рюкзак и побегал вслед за санями, садиться на них возница не велел.

— Ни за что ни про что пропадешь, паря! — объяснил он. — Вместо тебя ледышку привезу.

Мужик оказался охочим к разговору. Да говорил густым громким голосом, как из трубы гремело. Алеша быстро узнал, что весел возница не даром — ездил к теще.

— Блинами кормит, студент.

Теща угостила зятя, видать, не только блинами. У дубового леска, вплотную подступающего к поселку, мужик занукал на коня, стеганул его для острастки и, потянув вожжи, свернул в дубраву. Алеше он объяснил:

— Поработать малость придется, студент. Не против?

Полями забрались в чащобу. Остановились у большой кучи ровно уложенных дров. Возница сбросил с себя плащ и тулуп, соскочил с саней. Алексей подивился его малому росту, по голосу казалось громада прикрылся кожухом, а на самом деле коротконогий, короткорукий мужичишка.

— Наваливаем! — загудел опять возница. — Ты берись за тот край — там тоньше. А я здесь. Мы их враз, — и закряхтел, заругался непонятно. Слышалось что-то похожее на «еж твой еж».

Грузили недолго. Хоть дубки были не особо тяжелые, да разве много их наложишь на санки-одноколки. Четвертый, пятый — все сделано. Алексей дух не успел перевести.

Лошадь с натугой тронула воз, хрипела и билась в упряжи — испугались за нее, разом подталкивали сани сзади. Под гору стало легче, да и полустанок, благо, уже был рядом.

— Ты беги прямо через огород, минуешь улицу, а на углу следующей по левую сторону моя хата, — пояснил и указал рукой возница. — Прямо на нее и выйдешь. Я тут дорогой поровнее пока проеду.

К чужим так вот неудобно идти в дом. Но что еще оставалось делать Алеше? Знакомых и родни у него здесь нет. Мокрому доночевывать в холодном вокзальчике? Пропадешь.

Нужный дом разыскал быстро — оконницы-ставни не были прикрыты, стекла горели ярким светом. На Алешин стук отозвался женский голос. Дверь оказалась незапертой.

Женщина разохалась, увидев Алешу и прослушав про его мытарства. Вздыхая и причитая, она заставила его раздеться, успела рассказать о таком же случае, когда кто-то замерз в степи. Только не знала, то ли шел тот человек, то ли ехал, потому повторяла:

— Уж точно я тебе не скажу, но что замерз, то замерз, это правда.

Когда хозяин приехал домой, Алексей уже сидел на лежанке в коротких и широченных штанах Фанаса, так хозяйка называла своего мужа, и растирал ноги тройным одеколоном. Кожа взялась огнем, Алеша лишь зубами скрипел да старательно тер щиколотки, пальцы. Сынишка хозяина держал склянку и пробку, охотно рассказывал, что в школе у них в третьем классе хорошая учительница. Вчера Гриша дернул за косичку Марину Посвежинную (задавака она), чтобы здорово не

заносилась со своими нарядами. Лидия Андреевна заметила, но ничего не сказала. Только на переменке отозвала Гришу и, разузнав все, маленько пожурила.

— Как, студент, на печи-то оно ладно? Не в поле, жить можно. — В доме загремел голос Фанаса. — Ого, а лапы как у гусака, — сказал и захохотал довольно, стаканы в шкафу задребезжали тоненько.

Алеша глянул на ноги — и впрямь гусиные. Красные, разлапистые, в коротких штанах. Пошевелил пальцами, рассмеялся тоже. Гриша, смеясь, схватился за живот.

— Чего гыгы лупите? — прикрикнула хозяйка. Сама полная, выплыла из-за печи, распорядилась: — Наследил. Разувайся у порога. Валенки сухие под кроватью. — Это мужу. — Держи крепче, дикалон выльешь. — Это Грише. — Натирай лучше, да на горячее пока ноги не ставь, пусть отойдут. — Это Алеше.

— О, баба-гром! Враз всем мозги законопатила. Еж твой еж. — Прищелкнул языком, помотал головой — то ли осуждающе, то ли восхищаясь — Фанас, но послушался, полез под кровать за сухими валенками.

Теперь, на свету, Алексей разглядел его получше. Без верхней одежды (он успел сбросить ее в сенцах) Фанас рядом со своей высокой, плотной женой казался вовсе коротышом. Годы уже прошли по его лицу, оставив глубокие следы. Человек он скорее всего технический — вымыл руки, ясно выделилась на них чернотой густая сеть морщин. Эта чернота, — вечная примета у трактористов, шоферов, у людей, связанных с машинами. Все у него казалось коротким, и только лицо — вытянутое, с запавшими щеками — еще больше подчеркивало худобу. Непонятно было одно: откуда в нем берется такой голосина, говорит без натуги — не кричит, а в хате хоть уши затыкай.

— Татка на спор лампу голосом загасил, — не без гордости сообщил Гриша.

— Чего-чего? — не понял Алеша. Гриша охотно разъяснил:

— Пospорил с мужиками. Зажгли керосиновую лампу и поставили на стол. Татка с порога гаркнул, и она потухла. Хочешь, у него спросим?

Договорить им не дали.

— Мужики, — загремело из кухни, — вечерять собирайтесь. Ты, студент, в валенки мои новые вступи. Они там, на печи пошарь, в закутке пылятся.

Хозяйка уже расставила на столе полные тарелки. Борщом так запахло, что у Алешы сразу закололо в животе, он только сейчас вспомнил, что с утра толком не ел, на бегу пирожки черствые пожевал в вагоне, чаем запил.

— Верка, студента надо спасать, — Фанас со стуком ставил стаканы. Жена уже сама сообразила — вытащила из-за стола поллитровую бутылку. Фанас поддел ножом пластмассовую пробку, а затем вытащил ее рукой. Перевернул горлышком в стакан, налил доверху и пододвинул Алексею.

— Потянешь — и никакая хворь не возьмет.

— Сам-то поменьше пей, — предупредила хозяйка.

— Ты не командвай, — весело отозвался Фанас, — мы свое дело знаем, глоткомер не требуем. Верно, студент?

— По имени не можешь назвать человека?

Но Фанас, видимо, нравилось называть Алексея студентом, ново и необычно звучало это слово в доме. Он взял с подоконника стопку, налил в нее.

— Вышей лучше, баба, чуток для аппетита. Про мать расспросила бы, а то учит...

Фанас и себя не обделил. Буркнул:

— Давайте, давайте, быть добру.

— За знакомство, — чокнулась с Алексеем хозяйка.

Алеша поднес стакан к губам и поперхнулся. Сивушный запах перехватил горло, будто ком застрял. Но набрался сил, зажмурился — и глотнул несколько раз. Подавился, закашлялся — слезы брызнули из глаз.

— Ничего, ничего, студент, — успокаивал Фанас, приглаживая рукой по спине. — Хворобу так выгоняют из нутра. Хлеб вот, хлебушек понюхай, враз станет легче.

— Теперь не захвораешь, — с усмешкой приговаривала хозяйка. — Я тебе еще чайку горяченького с малиной дам на ночь выпить. Пропотеешь — вся простуда выйдет.

Закачались ложки, закружилась у Алексея голова. Затуманилось. Дорожные хлопоты, думы отлетели в сторону. Вроде у себя дома за столом сидел. Фанас рассказывал что-то о своей поездке к теще. Сетовал на судьбу — не заладил с колхозным начальством, житъя спокойного теперь нет.

— Где ни хуже, туда меня посылают. В каждую дырку затычка. Сегодня я вот, озлясь, забрал дубки... Те, что с тобой грузили. Ты пойми меня правильно, студент! — жаловался Фанас. — Не могу выпросить на сарайчик леса. Они меня вынуждают! — Фанас размахивал руками.

Попили душистый чай с малиной. Уснул Алексей сытый, успокоенный и на мягкой пуховой перине, такой непривычной после общежитского матраца на жесткой коечной сетке. Сквозь сон слышал только, как до сего вечера незнакомый Фанас, теперь такой близкий, говорил:

— Домой будем добираться утром. Погасили свет.

Во тьму будто провалился Алеша. Уснул сразу, как свалился. А ночью его и правда всего перекрутило. Кинется — весь мокрый, в поту, палит тело. К утру полегчало, забылся.

Разбудил Алешу голос Фанаса. Вспыхнула лампочка прямо над головой, глаза прижмурил от резкого света.

— Поднимайся, студент. Довольно спать. Домой-то хочется?

Хозяин потоптался, потоптался. Вид у Фанаса был помятый. Заглянул по кувшинам, стеклянным банкам, прямо из кринки глотнул кислого молока, кадык на шее задергался. Вытер губы кулаком. Спросил сочувственно:

— Голова не болит?

Алеша, отнекиваясь, молча покачал головой.

— А у меня гудит. Пойду корове сена положу.

Алексей огляделся. На спинке стула висели его отчищенные брюки, на сиденье лежали высушенные носки. Быстро оделся. В голове немного шумело после вчерашнего, а в теле хвори не чувствовалось.

— Как спалось на новом месте? — приветливо встретила хозяйка Вера.

Угостила Алешу теплым молоком. Допытывалась:

— Ваши корову держат? Ты утром голову с похмелья не лечишь? Не надо. Молоденький еще. Такого добра всегда успеешь захватить.

Впустив холод с улицы, громыхнул дверью Фанас. В руке, за голенища, он нес кирзовые сапоги.

— Попробуй обувку, студент. Подай, Верка, сухие портянки, — командовал он. — Да потуже на ногу наматывай. При городской жизни не разучился?

Обулся, встал, притопнул каблуком — хорошо!

— Давно не надеванные, ссохлись, — оглядела хозяйка.

— Главное, не жмут, — заверил Алексей. — Разомнутся быстро.

— Теперь и топай. Скоро совсем просветлеет, — сказал Фанас. — К обеду домой попадешь. — Помолчав, спросил: — Назад-то когда будешь ворочаться?

— Через две недели.

— Тогда и сапоги занесешь. А сейчас шагай. Ты ему дай что-нибудь на дорогу, — повернулся он к хозяйке.

— Сама знаю. Уже пирожков напекла, — ответила та. — И в карманы, в пальто тебе, Алеша, положила.

Алеша благодарил, краснел, неловко вдруг стало — сколько хлопот незнакомым людям из-за него. Решил оставить хоть залог.

— Я у вас ботинки брошу...

— Забирай, — буркнул Фанас. — В клуб же к девочкам в ботинках пойдешь? Негоже студенту в кирзачах. Марку держи.

— Дома старые сойдут. Нести тяжело будет, двадцать километров топать.

— И то верно, — согласился Фанас. Распрощался Алеша с доброй хозяйкой. Та все беспокоилась:

— В этом кармане пирожки с картошкой, а там — сладкие, с вареньем яблочным. Не спутаешь?

— Найдет, — гудел за Алешу Фанас.

На улице было светло, чуть приморозило, снег, лужи — все взялось хрупкой ледяной коркой.

В углу двора под плетнем чернели дубки. Фанас косо глянул на них, сплюнул.

— Стыда не оберешься.

И опять сплюнул.

— Сараев ему мало, новых забажалось.

Вышли за ворота.

— Шагай, студент. Заходи к нам, когда нужно. Гостем будешь.

И Алексей пошел. Теперь напрямик, через сугробы, по воде, по льду. Ничего не страшно, в сапогах ведь шагал.

Чтобы не скучно, пел песни. Весело было на душе — домой ведь, в село свое шел.

Ровно через две недели Алеша возвращался в город: кончился срок каникулярный. На полустанок доехал быстро, на грузовике. Зима уже вновь встала на ноги. Дорога была накатана.

Пока дружки стояли в очереди у кассы, доставали билеты на поезд, Алексей побежал к Фанасу — сапоги отдать. Быстро отыскал улицу, знакомый дом. Постучал в дверь — тихо, никто не отзывается, толкнул щеколду — открыто. В сенях же, в углу на лавочке, стоят Алешкины ботинки, начищенные, блестят, как лакированные.

Алеша быстро переобулся. Поставил на лавочку сапоги. Рядом положил кусок сала, завернутый в газету. Мать так наказывала сделать.

Подумал-подумал, вырвал из блокнота листок и написал большими буквами: «СПАСИБО!»

## Виктор Никитин

*Никитин Виктор Николаевич родился в 1960 году. Прозаик, эссеист. Член Союза писателей России с 2003 года.*

## ЗОЯ ПАЛЬЦЕВА

У нее было настроение блюз. Голубое платье висело на спинке стула. Чашка кофе дымилась на столе, к краю блюда была прислонена дымящаяся сигарета. Телевизор без звука показывал, как крокодил на водопое подкараулил спустившуюся к реке антилопу, а потом, как из крокодиловой кожи делают сумочки и кошельки.

Зоя взяла сигарету и подошла к окну. Ее обманули, ее опять обманули. На-

дежды на перемены в жизни отодвинулись в неопределенное будущее, а внизу был двор в лужах, заставленный машинами, — очередное пустое воскресенье, безрадостная осень и никаких проблесков в однообразной серости дней. У нее была хорошо оплачиваемая работа в офисе, но не было счастья, которого она заслуживала.

Они познакомились в торговом центре — кафе на первом этаже, у фонтана. Он понравился ей сразу, через пять минут она уже безудержно смеялась, а через два часа они вышли из кино и поехали к ней. Эту квартиру она снимала; за восемь лет пятая по счету, а какой по счету была неудача, она не знала.

Он положил ей руку на спину и поцеловал. Она закрыла глаза и откинулась всем телом назад, — словно поплыла на кровати навстречу неизъяснимому блаженству, или нет, это был поезд, экспресс, стремительно уносящий ее в темный туннель; стучали колеса на стыках, она вздрагивала от равномерных толчков, ее тело подчинялось навязчивому такту движения. Движение захватывало и все объясняло, и выпрямляло, и вело к уверенности, что на этот раз они вместе сойдут на конечной станции и не расстанутся. На следующий день он не позвонил, как договаривались; ее попытки связаться с ним ни к чему не привели.

Зоя подошла к зеркалу и распахнула халатик. Ну, что не так? Пальцы ухватились за складку на животе — это все легко убирается. На кухне ее ждали банка с отрубями и пачка зеленого чая турбослим. Толстые ноги? Вот еще, нет, это неправда. У нее замечательная фигура. У нее красивые глаза, выразительный взгляд.

Из зеркала на Зою Пальцеву смотрела упрямая девушка с круглым лицом. Восемь лет назад она отправилась покорять Урскую. Ее родители были безнадежно отсталыми по части перемен, но и они согласились с тем, что их дочь достойна лучшего. Когда же еще, если не сейчас, в молодости? Расстаться с провинцией, обрести лучшую жизнь в столице — на это были направлены все возможные и невозможные усилия. Деньги тут были необходимым средством обретения независимости. На такое великое дело собрали, где только смогли, кое-что пришлось продать — вот и папины старые «жигули» пригодились, — но получилось главное: их дочь поступила в столичный вуз.

Предчувствие новой жизни охватило Зою еще в поезде: она лежала на верхней полке и принимала спиной радостный бег мурашек, внутри нее что-то сжималось в дрожащий комочек, а потом распрямлялось в предвкушении чуда.

Были веселые компании в институте, много смеха, всяческих вечеринок с пивом или вином. Зоя тогда смеялась особенно радостным смехом, ее голос забирался так высоко, она так самозабвенно заливалась, что все ее слова терялись, и ничего нельзя было разобрать, что она тараторит, да это никому и не нужно было. Так называемая «золотая молодежь» Зою сторонилась, записав ее в безнадежную категорию «провинциалок». Она пыталась что-то изменить, но выходило все неловко, случайно и на один только раз. Институт был с именем, вывеской и традициями, но выйти замуж у нее не получилось.

Зато получилось с работой. Ей предложили место в одной престижной финансовой компании. Круг общения стал значительно шире и интереснее. Вспыхнули новые надежды. Ей показалось, что ее непосредственный начальник, а он был постарше ее лет на десять, благоволит к ней не только потому, что она старательно исполняет свои обязанности. То, как он просил ее задержаться у себя в кабинете, когда всем остальным можно было уйти, каким нарочито спокойным и взвешенным голосом говорил с ней, как выделял ее среди прочих, какие давал поручения и даже то, как играли его пальцы на столе, когда он ей что-то объяснял, — все говорило о его интересе совсем с другой, не деловой стороны, более близкой ей и желанной. И она слушала его, теплея всем телом, и одновременно впадала в сладостное оцепенение от того, что ждет ее впереди.



А потом, спустя какой-то месяц, это произошло, и открылись недели сумасшедшей радости и равномерного счастья, встречи, от которых у нее светились глаза, волосы, и вся она целиком заполнялась внутренним светом. Она невпопад смеялась, и чаще всего это случалось как раз на работе, в общении с коллегами, не с ним; ее приподнятое настроение словно пыталось добраться до высот ее голоса, в особо головокружительные секунды срывающегося чуть ли не на визг, — от восторга, разумеется. Она теряла голову, и вообще все было непонятно и здорово, и закончилось внезапно, там же, где и началось, в кабинете: она оторопело смотрела на его пальцы, которые теперь не играли, а бегали по столу, словно искали какую-то невидимую опору, его голос при этом был глухим и чужим, и то ли объяснял ей, то ли просто сообщал, что у него совершенно другие планы в жизни, и меняет место работы и уезжает за границу, и с нее вдруг словно спадало какое-то колдовство, она просыпалась и удивлялась самой себе, тому, что делала все это время, на что надеялась, — у него же семья, он женат, неужели она думала, что он разведется? И вообще, о чем она думала и думала ли? Он говорил что-то еще, наверное, это были слова утешения, а по ее спине пробежал холодок от прикосновения его памятных, далеких, теперь посторонних пальцев; мысленно она замирала и ложилась на стол, чтобы испытать приступ любви, сладкая боль растекалась по всему телу, она никуда не ехала, ее вагон отцепили и бросили, — уезжал он, его поезд-экспресс стремительно отдалялся от нее.

И потянулись новые дни — дни привыкания, несогласия, пустого ожидания. Она ходила в кино; смотрела дома телевизор, забравшись с ногами на диван, в основном, клипы на музыкальных каналах — плотный ритм держал и поднимал мелодию до высот прозрачной грусти, низкий мужской голос рассказывал об ушедшем чувстве, девушка с развевающимися волосами летела в открытом автомобиле вдоль морского берега, ее рука отпускала на ветер косынку, она улыбалась и прощалась с летом.

Несколько раз с Зоей пытались познакомиться, но это не были варианты. У нее было безошибочное чутье на провинциалов, таких она отметала сразу.

Однажды в кафе на нее обратил внимание парень в оранжевом свитере, и все совпало, как надо. Был ночной клуб, сумасшедший танцпол, Москва проносилась мимо бликами огней, скользящими по поверхности его автомобиля. Они продолжали знакомство. Он заехал к ней на работу, домой она возвращалась с цветами.

К ней вернулся смех, вернулось и беззаботное, непринужденное настроение. Глаза светились, губы говорили «да», тело откликалось на любые предложения. В Зое пряталось поверхностное чувство удовлетворения происходящим, которое должно было вырасти в безоглядный восторг, широкой волной растекающийся по миру.

Но все повторилось, как и прежде, внезапным расставанием, на этот раз без объяснений и повторилось снова, с другим человеком, уже значительно старше ее, в другой обстановке. Был снова неутомимый и стремительный поезд-экспресс, те же нахлынувшие от избытка чувств мечты; спиной она ощущала легкую прохладу постели, достаток дома и налаженность быта, но сквозь все это спокойствие и величие чужой, неизвестно как заработанной жизни в Зое проявлялся новый подход к тому, что с ней происходит, в слове «приключение» она нашла оправдание сразу всему, ведь она уже научилась кое-что понимать и потому изменилась настолько, что ей стало интересно сыграть на опережение для компенсации своих душевных, и не только, затрат.

Оставшись одна, она вылезла из джакузи, вытерлась широким белым полотенцем и вышла к большому зеркалу в резной золоченой раме, висевшему на стене в другой комнате.

Обнаженная Зоя стояла вполоборота к зеркалу и ладонями приподнимала свою

тяжелую грудь. Ей казалось, что в зеркале отражается кто-то еще кроме нее самой, и эта двойственность только подзадоривала ее и подтверждала ее красоту, ее правду во всем и необходимость ее существования. Она легко хлопнула себя по бедру и со стеклянного столика рядом взяла компакт-диск «Ибица», а из оставленного без присмотра бумажника по соседству с полупустой бутылкой виски вытащила пятьсот долларов. Уходя, захватила с собой и полотенце.

Прежнего смеха не осталось, теперь она могла разве что усмехнуться чьей-то неудаче. Несколько лет жизни в Москве прошли в пустом мелькании лиц, и это было странно, это было так странно, что в это невозможно было поверить. Воздух большого города был насыщен миллионами волнуяще острых запахов, которые соединялись в один пряный запах удачи и перемен, который хотелось поймать в щепотку и растереть, чтобы вдохнуть в себя раз и навсегда, но для Зои не было здесь места. На работе прошли сокращения, и кризис не оставил ее в списках сотрудников компании. Попытки где-то устроиться на прежнем уровне не увенчались успехом, оказаться же на ступеньку, а то и две, ниже ей не хотелось. Конечно, чем-то она временно занималась, ходила куда-то на работу, но все это было уже не то. А тут родители вдруг зашевелились, стали звать ее домой.

Домой, домой — что это такое? И вот поезд, но уже не экспресс, плацкартный вагон, чьи-то босые ноги, черные пятки, жигулевское пиво на столике у окна, напротив детское лицо, перемазанное зеленкой. Зоя отвернулась к стенке. Куда она едет? Зачем? Если бы всего-то каких-нибудь полгода назад ей кто-нибудь сказал об этом, она бы не поверила. Нет-нет, убеждала она себя, я просто навещу родителей, а потом вернусь обратно.

Город, в который она возвратилась, ее родной город вдруг показался ей чужим. С ночи прошел дождь, который проявил всю осеннюю грязь. Сразу за зданием вокзала ее встретила большая куча мусора, заботливо поддержанная окурками до размеров причудливой пирамиды; ветер откуда-то принес запах дешевого мыла, и ей показалось, что она проваливается в какую-то яму, из которой невозможно выбраться.

Во всех справочниках город значился «промышленным центром», на деле же это был центр умирающей промышленности. Город делился широкой рекой на две неравнозначные части. Холмистый правый берег, где была сосредоточена основная жизнь, безоглядным кругом распространявшаяся дальше по степи и теснящая вырубаемые леса, возвышался над низменным левым, где поближе к воде прижималась узкая цепочка заводских корпусов с разбросанными там и сям разноэтажными домами, построенными для рабочих, в одном из которых и жила прежде Зоя Пальцева. Прижавшись в заполненной людьми маршрутке к окну, она спускалась домой по старому длинному мосту с торчащей во многих местах пробоин голой арматурой вместо перил ограждения, съеденного новой жизнью.

Родители Зои, которых она не удосуживалась навестить все эти годы, произвели на нее странное впечатление: они вдруг сразу постарели для нее, становясь через неодолимый возрастной барьер посторонними, и отодвинулись на расстояние необщения и равнодушного терпения. Можно было еще поартачиться и многого себе насочинять и наобещать, однако время и, казалось, сам вязкий воздух, весьма располагающий к привыканию и душевному оцепенению, довольно быстро погасил всяческое сопротивление; как бы там ни было, а Зоя устроилась работать на продуктовую базу. Нашлись старые школьные подруги, которые ее туда и затащили; ее посадили за кассу, где она очень скоро научилась заигрывать с клиентами и обсчитывать их, сплетничать по любому поводу и выпивать после работы в компании.

Случались в этом времяпрепровождении и мужчины, но ни романом, ни хотя бы просто приключением назвать эти отношения Зоя не могла. Ее смех стал наро-

читым и расчетливым к ситуации, зависимым от окружающей ее обстановки, заискивающим перед ней.

Ее база находилась почти за городом, на том же левом берегу, отрезанном от полнокровной и осмысленной жизни. Рядом торчали недостроенные, словно обретенные, заводские трубы, похожие на памятники-obelisks ушедшей эпохе. Голые оконные проемы пустых холодных цехов напоминали понапрасну разинутые индустриальные рты. Неровности земли, по которой Зоя шла от автобусной остановки до работы, соответствовали перепадам ее настроения; в ее душе формировался образ неровной и неловкой жизни. Это в Москве все было широко и прямо, здесь же все было непоправимо криво. И тогда ее в оборот брали слезы; отвлекала и успокаивала ее оживленная болтовня.

Неподалеку от базы располагалось придорожное кафе, куда Зоя вместе с подругами иной раз заглядывала после работы. Как-то в самом начале марта она оказалась там в одной случайно собравшейся компании. Зоя перебрала со спиртным, чего с ней обыкновенно не бывало, и неожиданно для самой себя разошлась: в ней вызрело какое-то ожесточение, ей хотелось всем говорить гадости. Наверное, был повод, ее неосторожно задела словом, и она преуспела настолько, что ушла сначала одна подруга, потом компанию покинула и вторая. Зоя осталась вместе с двумя парнями.

Под шутки и хохот они вывели ее на улицу. Густыми хлопьями шел снег, и свежий покров искрился в свете фонарей. Парни взялись отвезти Зою домой. Уже в машине она вдруг что-то сообразила и заупрямилась. «Пусти! Пусти!» — повторяла она, отталкивая руки того, с кем села сзади. Они оба тяжело дышали, ввязавшись в борьбу. Наконец другой, за рулем, уставший от этой бессмысленной возни, сказал своему другу: «Да выкинь ты эту дуру, видишь, она не в себе!» Машина остановилась, и Зоя очутилась в придорожном сугробе. Она встала, отряхнулась и крикнула вслед уехавшим: «Уроды!» Белая блузка на ней была разорвана, на распахнувшейся шубе не хватало декоративных пуговиц.

Проваливаясь в снег, она выбралась с обочины на дорогу. Автобус уже не ходил. Пошатываясь и глубоко вдыхая морозный воздух, Зоя шла неизвестно куда. Снег валил густой пеленой и угадать какое-либо направление было невозможно. Но ей отчего-то было хорошо, словно она освободилась от какого-то тяжелого груза и вдруг сообразила, что ей принадлежит целый мир с его необъятным темным небом и необозримыми белыми далями.

Вдруг она заметила какое-то движение в поле. Это собака бежала по снегу, небольшая совсем, и откуда взялась? Ее будто несло куда-то помимо ее воли, тащил ветром; она словно катилась по снегу и, казалось, что ноги ей только мешают, что она совсем без ног, и только смешно встряхивает головой в такт скольжению. «Вот и я, как эта собачка, — подумала про себя Зоя и улыбнулась. — Меня тоже тащит за собой неведомая сила».

Раскачиваясь, она попыталась бежать, подражая собачке, еще и для того, чтобы согреться. И вдруг эта неведомая сила толкнула ее вперед и опрокинула на снег.

«Что это было?» — спросил водителя очнувшийся пьяненький пассажир на переднем сиденье. «Где? — зевая, ответил тот; дворники со скрипом елозили по лобовому стеклу. — Хрен его знает. Ничего же не видно».

Машина пропала в заштрихованной снегом ночи, а Зоя осталась лежать в распахнутой черной шубе на обочине. Она лежала на спине, было холодно, и ей показалось, что она снова куда-то едет, и где-то там, на конечной остановке, ее ждет то, к чему она стремилась. Перед ее глазами открылось темное небо, усеянное застывшими звездами, а внутри нее растекалось теплое и спокойное ощущение дома.

# Юрий Кургузов

*Кургузов Юрий Митрофанович родился в 1957 году. Прозаик, очеркист, издатель. Член Союза писателей России с 2010 года.*

## ГРЮНВАЛЬД-1410

Этот тип оказался маленьким, щуплым и старым, но необычайно прытким человечком. С каким-то непонятым, чуть ли не злорадным удовлетворением он оглядел меня с ног до головы, задрал в конце «осмотра» подбородок к потолку, и, хихикнув, указал скрюченным пальцем на стул:

— Садитесь. Вы, значит, по объявлению?

Я не стал отрицать,

— Да вроде... Я... в общем-то...

— В общем-то, вам нужны деньги! — проскрипел он. — Ну, разумеется! Разве же в наше мерзопакостное время кто-нибудь согласится сделать что-либо бесплатно — бескорыстно, ради высших идеалов, ради науки!..

Я хотел было возразить, но старый хрен вовсе не собирался меня слушать. Он сморщился, будто глотнул желчи, и хмыкнул:

— Ладно-ладно, поберегите свое красноречие для других. Так вот: получите пятьсот...

— Слушайте, но ведь в объявлении было написано тысяча! — удивился я.

Он ослабил:

— Мало ли что там было написано! На заборе, помните, что было написано?.. А скажите, вы бы пришли за пятьсот?

Я пожал плечами:

— Ну, не знаю...

— А я знаю! — торжественно провозгласил он. — Прижали бы хвост. А вот за тысячей прискакали как миленький!..

Я подумал, что и бесплатно с удовольствием прижал бы ему не только хвост, не будь я... Ну, ладно. Старик же как обезьяна забегал по кабинету.

— Так вам не нужны пятьсот?! Да вам и трех сотен за глаза хватило бы! К сожалению, я слишком добрый и порядочный человек. Ну что? Не согласны? Тогда уходите, и побыстрее. С минуты на минуту заявятся другие...

Я скрипнул клыками.

— Хорошо, согласен...

Он едва не захлебнулся злорадным кашлем:

— Ха, еще бы! Одни дураки отказываются огрести кучу денег за просто так, фактически ни за что!

Старик похлопал по карманам замызганного, вылинявшего халата, нащупал какую-то коробочку, достал розовую пилюлю и забросил ее в рот. Я успел заметить, что зубы у него маленькие, острые и крепкие, как у хорька — если только, конечно, это не протезы.

Нахмурился:

— Короче... Что от меня требуется?

Он шутовски всплеснул руками:

— Надо же, какой прыткий! Нет уж, подождите, молодой человек, сначала я осмотрю вас. Может, вы больны и не подойдете, хотя на вид, признаюсь, выглядите отлично. Спортсмен?

— Бывший...

Он созрел внимательным, цепким взглядом:

— Не комплексуйте. — И, распахнув боковую дверь, нырнул в соседнюю комнату. — Сюда, мой юный друг!

Эта комната служила, видимо, лабораторией новоявленного и, подозреваю, не вполне нормального гения-одиночки. Вся она была заставлена какими-то приборами, бутылками с пестрыми ярлыками, завалена коробками, дисками и дискетами. В углу торчало кресло, над которым свешивался с потолка тусклый металлический колпак.

Старик ткнул пальцем в кресло:

— Сядьте и подожмите ноги.

Я сел и поджал.

— Так?

— Так. А теперь расслабьтесь и думайте о чем-нибудь приятном. Спокойно... — Он взял в руки маленький пульт с разноцветными кнопками и нажал на красную. Колпак с тихим шелестом начал плавно опускаться, пока не наступила полная тьма. Голос старика доносился словно издалека, неясно и приглушенно.

Честно говоря, я приготовился к довольно длительной процедуре и потому удивился, увидев вдруг у ног полосу света. Почти бесшумно гигантский металлический абажур вернулся на свое исходное место под потолком.

Я спрыгнул с кресла и потянулся:

— Куда теперь?

— Теперь домой! — вновь неприятно хихикнул хозяин. — Осмотр закончен, вы мне подходите. Жду завтра к десяти утра. Дома, если есть кому, — скажете, что, возможно, задержитесь на сутки, не дольше. А возможно, и не задержитесь, там поглядим. — Он, морщась, проглотил еще одну розовую пилюлю. — Главное — как следует выспитесь. Ну все. Не провожаю...

Нет, какого-то особого страха у меня не было. Однако, чтобы «выспаться», я поддал. Не очень крепко — но поддал...

Без пяти десять я нажал кнопку звонка.

Старик долго гремел замками и цепочкой и наконец впустил меня в дом. Потирая клешнеобразные кисти, прошел в кабинет и, обернувшись, пристально посмотрел мне в глаза:

— Что — плохо спали?

Я неопределенно шевельнул плечом — мол, не то чтобы плохо... Он понимающе каркнул:

— Ладно-ладно, плечами потом будете пожимать... Ничего страшного. А у меня все готово, скоро начнем.

— Валяйте... — Я огляделся в поисках стула, но он потащил меня к вчерашнему креслу:

— Давайте сразу сюда. — А сам уселся на табурет напротив. — Теперь слушайте внимательно. Вам незачем знать все в деталях — не поймете, да и ни к чему это, — но уразумейте главное. А главное... главное в том, что я сконструировал наконец Машину Времени! Уловили? В самом деле! И это вам уже не бредни писак, не газетные утки, а настоящая, самая настоящая Машина Времени!..

Я сдержанно кивнул (признаться, нечто в этом роде и предполагал):

— Да-да, понимаю. Машина Времени... Вы, наверное, изучаете историю?

Он злобно фыркнул:

— Ни черта вы не понимаете! Я сам не все еще до конца понимаю! Мальчишка!.. — Но тут же взял себя в руки. — Простите... Нет, я не историк. Моя область — психика, сознание, подсознание... Мне необходимо наблюдать человеческий мозг

в самых различных, желательных, конечно, неординарных, экстраординарных ситуациях. Но аппаратура, как видите, достаточно громоздка — я не могу таскать ее даже по нашему городу. А мне нужны войны, убийства, любовь, изнасилования, предательство... Понимаете?.. Мне нужно изучать мозг человека, попавшего в катастрофу, притон, плен... Понимаете? Человека умирающего, человека счастливого!..

Долгие, долгие годы я искал свой главный инструмент. И — придумал Машину Времени... Она, как скальпель, откроет мне доступ к самым сокровенным тайникам человеческих инстинктов и чувств! Она, вы и вот это, — постучал он по серебристому экрану, — помогут мне проникнуть в такие бездны!..

А я сидел и думал, что старик, похоже, здорово не в себе. Нет, что ни говорите, а все-таки страшно отдалаться во власть маньяка... Хотя с другой стороны, — пс с ним, не убьет же, в конце концов. И потом, служба есть служба, да плюс еще и левый заработок...

Я нетерпеливо отмахнулся:

— Слушайте, хватит объяснений, а? Мы вроде бы ударили по рукам — или надо еще что-то там подписать кровью? Я понял: вы отправляете меня куда считаете нужным — в будущее или прошлое... Давайте за дело!

— Верно-верно... — Старик усмехнулся. — За дело, так за дело, и кровью подписывать ничего не надо... Но — не в будущее. В будущее — это бред: туда попасть нельзя, будущего еще не было! Только — в прошлое. Оно было и — осталось. Оно все еще живет... Вам ясно?

— Угу. — Честно говоря, я даже не задавался всерьез в тот миг вопросом: верю ему или нет. Я просто кивнул и глупо повторил:

— Угу.

А он... Он достал из ящика стола широкий черный пояс:

— Наденьте. — Пояс был похож на металлический, однако мягко сомкнулся вокруг тела. — И ни в коем случае не потеряйте его, иначе можете остаться там навсегда, и я не смогу ничем помочь... — Голос его задрожал: — Приготовьтесь!.. — В руке опять появился пульт с разноцветными кнопками. — Да, вот еще что... Аппарат действует в радиусе тысячи лет, и я не знаю, в какую страну и эпоху вы попадете... Хотелось бы, конечно, чтобы в нашу и в совсем недавнее время, однако... В общем, вы поймете любой язык, и вас поймет всякий. Одежда пусть остается прежней — решите на месте, добывать другую или не стоит. Все. Закройте глаза и расслабьтесь. Через десять секунд я включаю обратное время!..

Опустился знакомый уже абажур. Я зажмурился и почувствовал всей кожей тончайшие уколы, словно через меня пропустили слабый разряд электрического тока... Вдруг ужасно захотелось спать, мысли начали скакать как зайцы и путаться как змеи... Внезапно я увидел склонившееся надо мной лицо старика. Откуда он здесь, под колпаком? Наверное, я уснул. Но спал я недолго...

...Спал я недолго, потому что на грудь вскарабкалась облезлая рыжая крыса и стала тянуть зубами за воротник кожаной куртки.

Я вскочил как ошпаренный, а крыса шмыгнула между ног и пулей скрылась в высокой густой траве.

— У-у, тварь!.. — и пара эпитетов покруче. Я еще не совсем проснулся и очумело глядел по сторонам.

Гм... Я стоял на равнине, обрамленной со всех сторон темными полосками леса. Невдалеке виднелось болото. Равнина вся была покрыта какими-то пятнами. Шагах в двадцати неподвижно лежал человек, чуть правее еще один, и еще, и еще...

Я ошалело присвистнул. Розово-красные тела усыпали все поле. По обнажен-

ным мертвецам степенно расхаживали вороны. Ну, старый черт!.. Вот так удружил!..

Стараясь не смотреть по сторонам, я быстрым шагом припустил к лесу и был уже почти возле деревьев, когда прямо навстречу мне вышли люди. Трое мужчин и женщина. Я почему-то подумал, что от этого знакомства не грех бы уклониться, и резко повернул назад. Мужчины закричали, требуя остановиться. Ага, размечтались — я дунул во все лопатки.

Над головой пропела и воткнулась в землю длинная стрела с потрепанным пестринным опереньем. Намек понял!

— Стой, собака!.. — Голоса уже близко.

Я замер как оловянный солдатик:

— Стою...

— Руки за голову!

Меня взяли в кольцо бородатые мужики в грубой одежде, все увешанные самым разнообразным холодным оружием и с большими мешками за спиной. Из них несло потом и кровью. Женщина, вернее, молодая девушка, тоже с мешком, но поменьше, остановилась в нескольких шагах.

— Попался, гад!.. — Сильный удар в челюсть едва не сбил меня с ног, и от мгновенно нахлынувшей злобы я не успел еще ничего сообразить, как кулак сам собой рассек воздух и врубился в кожаный с металлическими нависочниками шлем обидчика. Тот упал.

А я, я, повинуюсь уже одним лишь инстинктам, прыгнул к девушке, обхватил двумя руками и закрылся ею как щитом. Двое бандитов опустили мечи. Девушка молчала, хотя я чувствовал, как бешено бьется ее сердце. Пахло от нее, скажу вам, тоже не очень-то приятно.

— Еще шаг — и я ее задую!.. — Слушайте, я не узнавал сам себя! Какую-то минуту назад готов был поклясться, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не подниму руки на женщину.

Бродяги не шевелились. Наконец один, постарше, с черной густой бородой, разлепил потрескавшиеся губы и хрипло выдавил:

— Твоя взяла, немец... Уходи, но ее не трожь. Потянешь за собой — убьем обоих! Я плюнул.

— Да пошли вы!.. И со своей шлюхой вместе! Какой я вам, к лешему, немец?!

— Какой бы там ни был! — отрезал старший. — Все вы прихвостни орденские, крестоносцам зад лижете...

Ей-богу, наверное, только сейчас я начал по-настоящему осознавать, что нахожусь в другом мире. Продолжая сжимать девушку в объятиях, я относительно миролюбиво проговорил:

— Погоди ругаться, дубина; я — русский и не пойму, что вам от меня нужно!

— Русский? — вытаращил глаза молодой парень в безрукавке из засаленной и грязной овчины, надетой на голое тело.

— Да.

— Загинаешь! — Парень хмыкнул и громко высморкался в кулак. — Как же тебя сюда занесло?!

— Заткнись! — оборвал его товарищ. — Может, он из Смоленска... Погляди, что там, — кивнул на лежащего неподвижно бандита, а я удивленно подумал: «Почему это обязательно из Смоленска?»

Парень перевернул распростертое на траве тело на спину — лицо моего супостата было залито вытекающей из-под шлема кровью — и сорвал шлем. Он был сильно погнут с левой стороны.

— Готов!..

Мне стало малость не по себе.

— Я... убил его?..

— Нет, по головке погладил! Заклепка прямо в висок вошла!.. — Казалось, молодой разбойник не испытывал ко мне никакой ненависти. — Ну и ладно. Его мешок теперь наш будет.

Бородатый что-то проворчал, не отрывая взгляда от меня и девушки. И вдруг отбросил меч и лук в сторону.

— Оставь ее и уходи!

— Куда?! — И тут же я понял, что сморозил глупость.

— Куда хочешь. Не тронем. Проваливай да скажи спасибо, что за товарища не мстим.

Я усмехнулся:

— Значит, такой товарищ... За настоящих мстят. — Потом, продолжая крепко держать девушку за руку, подошел к брошенному мечу, поднял его и резанул по тетиве лука. — Гуляй!..

Девушка медленно пошла к своим и остановилась у трупов.

Молодец в овчине гоготнул:

— Ну что, теперь моя очередь?

— Отвали!..

— Ладно-ладно, ночью поглядим...

Про меня же, казалось, забыли. Мужики сняли с мертвеца сапоги, пошарив за паузой, достали кожаный кошель. Девушка стояла и безучастно смотрела на все происходящее широко открытыми синими глазами.

Я негромко кашлянул.

Бородач поднял голову:

— Ты еще здесь? Уходи!

— А куда идти-то? Где я?

— Да как ты сюда попал?!

— Так... Шел-шел — и пришел...

— Ну а теперь иди-иди — и уйдешь!

— Куда? — потерянно протянул я.

Бородатый сердито засопел и махнул рукой:

— Слушай, чеши вон к тому лесу и выйдешь прямо к Грюнвальду. Там сейчас конница Витовта после боя отдыхает. А за околицей мурзы татарские со своими головорезами.

— «Боя»... — словно во сне проговорил я. — Какого боя?..

— «Какого»? — передразнил он. — Такого! Немцу хребет свернули. Ордену конец! (Вообще-то, он сказал не «конец».) Пстой, а ты часом не дурак?

— Кажется, нет... — Я тряхнул головой. — А вы, ребята, что здесь делаете?

— Что? Трупы обчищаем — вот что. Хотели было тебя, да ладно, живи. Ну и платье же на тебе! — Бородач хохотнул.

— А давай меняться. — Я сбросил туфли и куртку. — Кинь что-нибудь взамен.

Мародер внимательно осмотрел и оцупал кожаную куртку и ботинки, потом поковырялся в мешке и, швырнув низкие сапоги и грубо выделанную овчину, — «На!» — толкнул девушку: «Пошли!»

И вдруг я, совершенно неожиданно для себя, выпалил:

— Эй! Возьмите меня с собой!

Мужик прищурился:

— О-о-о, парень, никак на бабу глаз положил?.. — И вмиг стер ухмылку с грязной физиономии. — Самим мало!

— А если я сейчас... и вас убью?.. — Слушайте, это был мой — мой! — голос.

Челюсть бродяги отвисла. А молодой зашептал что-то ему в ухо, показывая на меня и энергично жестикулируя. Девушка все так же равнодушно молчала.



Бородатый задумался. Казалось, он решал трудную математическую задачу — закатывал глаза к небу, шевелил толстыми губами, чесал затылок, даже поковырял в носу. Наконец пробурчал:

— Идешь с нами. Я так решил. Но гляди: чуть что — разговор короткий! — Он явно храбрился перед соратниками, пытаясь поддержать пошатнувшийся авторитет. — Бери его мешок.

Я подхватил с земли мешок убитого, сунул за черный пояс меч. Бородач недовольно засопел, но ничего не сказал; повернулся и зашагал к лесу. Остальные — за ним. Я — за остальными.

...Я уснул как рухнул в бездонную пропасть. Видения были тяжелыми: я бродил по зеленому полю среди розовых трупов, и те, словно в приветствии, поднимали к голубому небу окровавленные руки... Потом я вдруг оказался в лаборатории проклятого старика, который грозил мечом и требовал пояс. Но я-то знал, что тогда не смогу вернуться, вот только никак не мог вспомнить, куда — домой или на мертвый луг... Потом с потолка посыпались отрубленные головы. Я дернулся — и проснулся...

Кто-то прижался ко мне и положил руку на грудь. И это уже не был сон. Я схватился за пояс — на месте, — оттолкнул легкое тело, замахнулся для удара и... услышал тихий плач. На траве лежала девушка и тонко всхлипывала:

— Не бей!..

Я обалдело всмотрелся в темноту, потом провел пальцами по мокрому от слез лицу. Девушка схватила меня за руку:

— Не хочу быть с ними! Буду с тобой!..

Я растерянно пробормотал:

— Но послушай, очень скоро мне придется уйти... Я должен уйти...

— Возьми меня! Куда прикажешь, только не с ними!

— Да брось их!

Девушка почти беззвучно плакала:

— Не могу! Догонят и убьют... Они и тебя убьют, на рассвете...

Я стиснул зубы — вот как...

— Ладно, не реви, что-нибудь придумаем. — Нащупал в изголовье меч. А девушка, уже в настоящем испуге, зашептала:

— Ты сильный... убей их сам, убей!..

Меня немного передернуло:

— Спящих?!

— Но они же хотят расправиться с тобой!

Я покачал головой:

— Все равно, я так не могу. Я буду ждать, а ты уходи!

Но девушка снова робко придвинулась ко мне и обняла за шею.

Наверное, с минуту я лежал неподвижный как кол, потом вздохнул:

— Подожди... — расстегнул пояс и бросил на траву...

Светало. Я лежал с мечом в руке. Рядом ровно дышала девушка, имени которой я не знал и навряд ли когда узнаю, — мне это просто ни к чему. Спать хотелось безумно, глаза слипались, и мысли становились все туманнее и невесомее.

И вдруг со стороны кострища раздался треск сухой ветки и сдавленный шепот. Я полуприкрыл глаза. Послышались осторожные шаги, и две тени выросли над головой. И тогда... тогда я изо всех сил оттолкнул от себя девушку и прыгнул в сторону

Запоздало, с хрустом, в землю врубился топор. Я ударил мечом по голове одно-

го бандита. Удар пришелся вскользь, но бородач, оглушенный, безвольно уронил руки.

Испуганно закричала девушка, и я едва успел встать между ней и вторым разбойником...

Зазвенели мечи, и я сразу понял, что придется туго. О бое тяжелым холодным оружием я не имел почти ни малейшего представления — видел его только в кино, где клинок нарочито ударяет о клинок, а не метит в тело. Я отступал и уводил врага от девушки; тяжелое лезвие со свистом носилось над моей головой. Наконец, уже в совершеннейшем отчаянии от собственного бессилия, я каким-то чудом отбил меч противника высоко вверх и пнул его ногой в живот. Парень, отлетев, рухнул навзничь, а я, не давая ему подняться, подскочил и со всей силы, которая только осталась в руках, опустил свое тяжелое оружие на незащищенную голову. Казалось, я разрубил его череп напополам...

Снова пронзительно завизжала девушка. Я обернулся. Намотав длинные льняные волосы на руку, бородач пытался затащить ее в чашу.

И я взревел... Взревел как бык. Теперь я жаждал еще крови, и остановить меня теперь не смогло бы ничто на свете. Я бросился на бородач, который в страхе застыл на месте, отпустив девушку. Я хотел одного — отрубить, снести с плеч эту грязную голову... Меч взвился к светлеющему небу, я увидел полные ужаса глаза разбойника и... провалился, упал в черную тьму...

Однако почти тотчас же очнулся и с мечом в руке бросился на старика. Тот испуганно закричал и ужом нырнул под лабораторный стол. Я замер как вкопанный и стоял так минуту, а может, и час... Я — дома? Я — вернулся?..

Меч звякнул о кафельный пол. Старик выглянул из-под стола:

— Успокоились, юноша? Можно вылезать?

Я тупо глядел перед собой.

— Ну-ну, молодой человек, опомнитесь! Вот стул. Да садитесь, садитесь же, черт вас побери!

— Спасибо... — пробормотал я.

А он, довольно потирая руки, заходил по лаборатории.

— Я все видел! Это было изумительно! Бесподобно! Я в вас не ошибся. Правда... некоторый допинг, для храбрости, вы получили, но и сами молодцом! Два трупа за сеанс, да еще и... — Он шутливо погрозил пальцем: — Ах, молодежь, молодежь!.. — И вдруг лицо его стало печальным: — Увы, друг мой, к великому сожалению, я вынужден вас оштрафовать, получите на двадцать процентов меньше...

Я молчал.

— Ох, проказник! Зачем снимали пояс? Вы лишили меня ценного научного материала... Но ничего, ничего, убийства — это тоже хорошо! Зато теперь весь вы у меня вот где! — Старик счастливо потряс над головой маленьким диском. — Со всеми потрохами, со всеми своими, так сказать, основными и неосновными инстинктами...

Я продолжал торчать посреди комнаты как истукан. Хозяин потрепал меня по плечу:

— Да не переживайте вы так, все у них будет нормально. Эта сладкая парочка пойдет бродяжничать дальше. Ну разве что он ей всыпет немножко за вас. А вот и деньги, с вычетом, как договорились. Теперь домой, отдыхать, баиньки. Давайте-ка сюда меч — не идти же с ним по улицам... О господи! Ну, хорошо, хорошо... заверните, по крайней мере... вот так... До свидания, а точнее — прощайте. Всего доброго! Больше не приходите; вы для меня уже, можно сказать, отработанный материал, уж извините. Желаю счастья. Дверь прихлопните, пожалуйста, там английский замок...

...Судя по газетам и теленовостям, его нашли на следующий день. Какой-то парень пришел по объявлению, долго звонил, стучал, потом, заподозрив неладное, поднял тревогу. Одна из газет, видимо, самая шустрая, даже поместила снимок: старик лежит на боку, устремив неподвижные глаза в потолок; широкое лезвие меча наискось торчит из спины. Он в тот момент, конечно же, удивился, но испугаться по-настоящему, по-моему, так и не успел. Об отпечатках пальцев на мече (как, впрочем, и всем остальном в квартире) я не беспокоился: их там не было — я же все-таки профессионал.

О выполнении задания я доложил сразу же по возвращении домой и тотчас получил новое, на послезавтра.

А вот про диск в коробочке с аккуратной каллиграфической надписью на сиреневой этикетке «Проба №1.1410» — умолчал. Ненавижу, когда кто-то начинает копаться в моих не только основных, но даже и неосновных инстинктах.

И касается это любого...

